

Николай Фудель

Андрей Курбский

РОМАН-ЭПОХА



Исторический роман (Никея)

Николай Фудель
Андрей Курбский

«Никея»

1992

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Фудель Н. С.

Андрей Курбский / Н. С. Фудель — «Никея»,
1992 — (Исторический роман (Никея))

ISBN 978-5-91761-498-4

«Андрей Курбский» – исторический роман Николая Сергеевича Фуделя, сына известного религиозного писателя, изданный почти четверть века назад под авторским псевдонимом Николай Плотников. По замыслу это первый роман в трилогии о выдающихся личностях и государственных деятелях Древней Руси. Раскрытые с глубоким психологизмом и знанием исторического контекста вечные темы противостояния государства и личности, дворцовой смуты, человеческого выбора, одиночества духа приобретают современное звучание и оказываются актуальными в наши дни.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-91761-498-4

© Фудель Н. С., 1992
© Никея, 1992

Содержание

Предисловие	6
Часть первая. Лунная решетка	10
1	10
2	18
3	31
4	37
5	43
6	47
7	50
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Николай Фудель Андрей Курбский

* * *

*Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС
Р15-515-0719*

© Издательский дом «Никея», 2016

© Астахова М. Н., 2016

Предисловие

Николай Сергеевич Фудель родился в 1924 году в Москве на Арбате, в Плотниковом переулке, в семье репрессированных. В память детства, проведенного на Старом Арбате в семье деда, печатался под литературным псевдонимом Н. Плотников. Очень большое влияние на духовное развитие его личности оказала жизнь родительской семьи. Отец – Сергей Иосифович Фудель (1900–1977) – был сыном священника Бутырской тюрьмы о. Иосифа Фуделя, близко знавшего К. Леонтьева, Л. Тихомирова, о. Павла Флоренского и других известных представителей религиозно-философской мысли своего времени. О. Иосиф постоянно поддерживал арестантов как духовно, так и материально, помогал соединению разобщенных семей и получал сотни благодарных арестантских писем. Подготовил к печати собрание сочинений К. Леонтьева. Сотрудничая во многих газетах и журналах, опубликовал около 250 статей и брошюр. Сергей Иосифович был глубоко верующим человеком, жизнь его прошла в непрерывных гонениях власти, нетерпимой к инакомыслящим, – в этапах, тюрьмах, ссылках. Записывая позднее свой жизненный духовный опыт, свои встречи с удивительными подвижниками – праведниками, он стал известным православным писателем, произведения которого в советское время ходили в «самиздате», а в настоящее время стали желанным открытием для читателей. Мать Николая Фуделя – Вера Максимовна Сытина (урожд. Свербеева, 1901–1988) – происходила по материнской линии из старинного рода служилых дворян Свербеевых, известного военными и общественными деятелями. В доме предка Веры Максимовны Д. Н. Свербеева, отставного дипломата, в 19 веке был устроен литературный салон, где бывали Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Чаадаев и другие выдающиеся писатели того времени. Один брат Веры Максимовны, морской офицер, погиб в 26 лет, спасая людей при землетрясении в Мессине, другой был убит в начале Первой мировой войны, два родича – морские офицеры – героически погибли в бою при Цусиме. Отец Веры Максимовны получил личное дворянство за боевую доблесть в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Безусловно, влияние такой семьи, где Вера, Милосердие и Мужество были главными истинами, явилось основой формирования человеческой личности Николая Фуделя, помогло развитию его чуткой и любящей души и позднее выразилось в его творчестве. Христианское миропонимание преобразует его творчество, придает ему особенный смысл, хотя его тексты не содержат прямых поучений и наставлений. Автор видит мир через драгоценный кристалл – искреннюю, теплую веру, для него естественную, как дыхание, и от этого мир и жизнь людей в нем приобретают сокровенный смысл, и творчество становится потребностью выразить глубину своих душевных переживаний. От этого в каждой, даже трагической ситуации в произведениях автора всегда есть своя «точка света», когда не темную безнадежность чувствуешь, а ощущаешь свет и надежду. В душе растет и растет теплое душевное чувство сострадания совершенно живым и совсем разным героям его романов и рассказов. В 1942 г. Николай Фудель был призван в армию и как нестроевой направлен в 1-й ОУАП (отдельный учебный автомобильный полк) в Рязань. До призыва он успел поработать и слесарем-сборщиком, и учеником шофера на военном заводе в Загорске (Сергиев Посад). Зима, проведенная Николаем в учебном полку, оставила у него неприятный осадок, так как офицер, поставленный над новичками, был груб и унижал их. Несмотря на то, что его оставляли вести теоретические занятия как наиболее грамотного ученика, Николай добровольцем ушел на фронт и никогда об этом не пожалел. На фронте он почувствовал ту внутреннюю свободу, которой не было в учебном полку, – сознание того, что тебя могут каждый день убить, спланивало людей, и они помогали друг другу, чем могли. Добро и зло выступали здесь так ярко, как не бывает в обычной мирной жизни. Люди самых разных национальностей, – рассказывал Николай Сергеевич, – держались вместе на фронте и воевали за спасение общей Родины. Как вспоминал сам Николай Сергеевич: «Сначала в 31 танковой бригаде, затем с 1943 по 1945 гг.

находился в действующей армии в составе 76 Стрелкового корпуса. Участник штурма Берлина и освобождения Праги, награжден боевыми орденами и медалями, имел ранения, контузию, еле вылез из сыпняка, но в итоге остался жив в звании старшего сержанта». Имеет пятнадцать правительственных наград. Среди них два ордена Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». На территории Украины был чуть не убит бандеровцами. На территории Германии, уже в конце войны, попал в окружение и тоже чудом спасся сам и вытащил старого раненого генерала, которого бросил под пулями сопровождавший его офицер. После окончания войны вернулся в арбатскую дедовскую квартиру, и это был, по его словам, «неправдоподобный миг окончательного освобождения от смертного гнета войны». Но через полгода, в 1946 г. забирают отца, Сергея Иосифовича Фуделя – третий арест, третья ссылка. И начинается очень важный для Николая период писем отца к сыну, когда тот, не имея возможности встретиться с сыном, постоянно направляет и поддерживает его в послевоенной, совсем другой жизни, передает ему свой духовный опыт жаром своей взволнованной и любящей души. Позднее Николай вспоминает: «Отец был для меня не только отец, он был моим духовным наставником, укрепляющим мой дух всю мою жизнь». Переписка отца и сына продолжается и по возвращении Сергея Иосифовича из ссылки до его смерти в 1977 г. Николай Сергеевич называет письма отца особенным богатством, в них «то, что он накопил годами, вся его любовь к людям, к Богу, ко всему, что делает добро в жизни». После демобилизации Николай окончил в 1950 г. филфак МГПИ им. В. И. Ленина и получил возможность свободного распределения из-за фронтовой контузии. Работал научным сотрудником в музее «Абрамцево», где начал трудиться над диссертацией о творчестве И. С. Тургенева. Защитился в Москве, в Институте мировой литературы. Более 30-ти лет проработал заведующим кафедрой русского языка для иностранцев в МИСиСе, упорно оставаясь беспартийным. Кафедра, которой он руководил, считалась одной из лучших в Советском Союзе. Ушел на пенсию в 1990 г. в связи с неизлечимой болезнью жены, после ее смерти жил вместе с дочерью и внучкой в «хрущевской» пятиэтажке. Постоянно писал стихи – о фронте, о современности, о северной природе, которую очень любил. Читал стихи дочери, некоторые записывал, наговаривая их на диктофон. Вел дневник своих чувств и мыслей. Скончался в 2002 г. от рака легких. Смертельную болезнь переносил стоически и говорил: «Слава Богу за все».

Николай Сергеевич еще в юности начал писать стихи, продолжая это занятие всю жизнь, к прозе перешел позднее, к 30-ти годам. Писал прозу «в стол», так как его христианское миропонимание не очень – то соответствовало идеологии советского времени. Писал в свободное от службы время, стараясь ни в чем не отступать от реальных исторических фактов. Его занимали поиски своего индивидуального стиля, «поиски чего-то не избитого, новой метафоры, особого выражения в слове человеческой психологии» (Н. Фудель). Им написаны повести о войне, роман о послевоенном Арбате, цикл исторических повестей о древней Руси. Историческая тематика была у Николая Фуделя реакцией на тяготу современности. Публиковаться начал в 1960-е годы в альманахах «Охотничьи просторы», где вышли в свет его рассказы о природе, о путешествиях по лесам Севера России. В большую литературу Николай Сергеевич вошел повестью «Маршрут Эдуарда Райнера», рекомендованной «Новому миру» Георгием Семеновым и одобренной Владимиром Солоухиным в письме к автору. Повесть была издана в переводах в 10-ти странах: Чехословакии, Польше, Венгрии, Германии и других. Автор получал десятки писем от читателей. Изданная сначала в «Новом мире» в 1983 г. (№ 4) повесть «Маршрут Эдуарда Райнера» входит позднее в первый авторский сборник Николая Фуделя (под псевдонимом Н. Плотников) «Березы в ноябре», вышедший в 1988 г. в издательстве «Советский писатель». Кроме повести, в сборник входят рассказы из «Охотничьих просторов» и рассказы о Киевской Руси. Сборник объединяют психологически точные портреты людей, и природа передает тонкие оттенки чувств и мыслей человека. В 1989 г. в журнале «Родина» публикуется отрывок из исторической повести «Жребий», бывший частью исторического цикла, созданного автором в

60-е годы, – о молодых годах князя Владимира Святославича. В 1991 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышел в свет второй сборник Николая Фуделя «С четверга до четверга». «Милосердие, умная гуманность лежат в основе всех сюжетов; некоторые из этих новелл, настолько трогают душу, что по прочтении повести не оставляет странное чувство: неужели это всего лишь слова?..» (Татьяна Толстая).

В 1992 г. в издательстве «Советский писатель» выходит роман «Андрей Курбский», ранее опубликованный в сокращенном варианте в журнале «Москва». На создание романа автора подтолкнуло смутное время 90-ых годов, тема эмиграции, которая в романе приобретает глубоко современное звучание, хотя речь идет о временах Ивана Грозного. В романе поднимаются «те же мучительные и сложнейшие проблемы человеческого бытия, что приходится решать сегодня и нам». (И. Виноградов, из рецензии). Вполне современна и, должно быть, во все времена одинакова мучительная безысходность Курбского, который покинул Родину против воли, спасаясь от гибели, но оказавшись на службе у поляков, вынужден идти против своих же, русских. Брошена жена с маленьким сыном, оставлена Родина. Вынужденное бегство спасло ему жизнь, но оставило кровоточащий разлом в душе, превратив спасенную жизнь в нравственную пытку. Гибель сына, в котором его будущее, не искупить никаким раскаянием. Раздвоенность, оторванность от Родины и муки совести точат и иссушают Курбского. И только в самом конце жизни по бесконечной милости Господней слезами разрешается душа. Описывая духовные искания, нравственные взлеты и падения героя, которые в данной ситуации одинаково свойственны как тому, далекому от нас времени, так и нашему, современному, автор сохраняет «реальный исторический колорит, который был характерен для эпохи Курбского, все те исторические условия, обстановку, ситуации, конфликты, особенности психологии... перед нами подлинный исторический роман, необычайно достоверный во всей своей исторической фактуре» (И. Виноградов, из рецензии). Роман издавался без сокращений в 1995 г. (издательство «Дрофа») и в 1998 г. (издательство «Армада»). В 1996 г. в печати появляется роман «Великий князь Михаил Тверской. 14 век. Русь под игом», опубликованный издательством «Сувенир» в Твери. До этого роман 20 лет ходил по самиздату под названием «Иго».

Последнее, что было напечатано при жизни Николая Сергеевича, – повесть «Георгий Угрин», которая является частью исторической трилогии («Андрей Курбский», «Великий князь Михаил Тверской»). Над созданием трилогии автор работал с 60-тых по 90-ые годы. Повесть была напечатана издательством Сретенского монастыря в Москве в 2000 г. И здесь, как в других произведениях Николая Фуделя, сила любви и глубина веры укрепляют духовные силы человека и приводят его к подвигу самоотречения. В 2008 г., уже после смерти Николая Сергеевича, был впервые полностью опубликован сборник исторических повестей времен Киевской Руси «Сквозь времена» (издательство «Русский путь») и роман о послевоенном Арбате «Переулочек времени». Произведения были опубликованы благодаря финансовой помощи Владимира Порошина, давнего друга и почитателя таланта Николая Сергеевича. Творчество Николая Фуделя получило высокую оценку таких современников, как Татьяна Толстая, Владимир Солоухин, Владимир Крупин, Георгий Семенов, Василий Белов и других.

«Плотников – мастер, это большая редкость. Вещи Плотникова – из тех вещей, которые перечитывают ради удовольствия от самого процесса чтения» (Татьяна Толстая). «Писатель не подвержен конъюнктуре, предельно историчен и правдив» (В. Юдин). В 2000 г. Николай Сергеевич был принят в Союз писателей, что никогда не было для него самоцелью. Главным для Николая Фуделя было не исказить смысла, внутренней гармонии, художественной ткани своих произведений.

Заканчивая это предисловие, хочу сказать, что мне постоянно не хватает отца, который был моим главным другом, советчиком и утешителем. Но вера в которой он меня воспитал, согревает меня и дает надежду – ту «точку света», которая есть во всех его произведениях. И еще он передал мне и своей внучке бережную любовь к северной русской природе и свое

чувство родства с ней. И я всегда думаю о нем с любовью и благодарностью. В глухом уголке, в тверской деревне был нами куплен в 1983 г. старый дом, где очень любил бывать отец. Часто мы бродили по безлюдному сосновому бору, дышали этой красотой. В память об этом я написала стихи, посвященные отцу, которыми и заканчиваю свое предисловие.

Я тебе расскажу обо всем, что идет чередом,
Не о том, что пройдет, – не о ссорах, болезнях, тревогах, —
Как в конце сентября золотым своим тонким пером
Осень пишет дневник и неспешно подводит итоги.

Тот дневник, как стихи – о туманах, холодной заре,
Как поля наливаются солнцем осенним под вечер,
И как дикие гуси над лесом летят в октябре,
И как их восклицания в небе плывут бесконечно.

Я тебе расскажу про холодное пламя ветров
И как люди хрупки под могучим теченьем деревьев,
И как ясно зовет из глубин самых давних веков
Голос дикой природы в лесах, уходящих на Север.

Помнишь, как ты любил золотистый осенний покой?
Помнишь тропку во мху и глухарку, что видели здесь?
По заветной тропе я, как раньше, иду за тобой
В золотой и прозрачный, ветрами распахнутый лес.

А потом будет сердцу тепло от печного огня...
Ты, наверное, в мире ином обо мне вспоминаешь,
Если снова молитва моя согревает меня,
И с любовью мой лес, как и раньше, меня принимает.

И, наверно, жалея меня, ты у Бога просил,
Чтобы быть тебе рядом. Бывает и так, что не знаю, —
Разделяет нас звездное море далеких светил
Или светом прозрачным порога граница простая...

Мария Николаевна Астахова (Фудель)

Часть первая. Лунная решетка

1

Немцы называли эту крепость Дерпт, а русские – Юрьев. На полпути меж двух великих озер, Чудским и Выртсьярв, над обрывистым склоном холма, где некогда было языческое городище эстов, возвышался этот город-крепость, пограничный форпост крестоносцев, весь каменный, замкнутый, потемневший от столетних дождей. И сейчас шел дождь, но апрельский, теплый, он шуршал сонно по плитам двора, по зарослям молодой крапивы. Дождь пришел ночью с Варяжского моря, быстро и низко плыли рыхлые тучи, почти задевая двухбашенный храм Петра и Павла на холме, лунные тени бежали впереди туч по мокрым кровлям, и ярче запахло черемухой в холодной комнате, когда он отворил окно в сад.

Он долго стоял, слушая горловое журчание в черепичном желобе. Имя города стало русским – Юрьев, но отсыревшая штукатурка, амбразура крепостной толщины, лунная решетка на полу – все оставалось чужеземным. Раньше это не мешало – так и должно было быть для него, князя Курбского, наместника Ливонии, но сегодня эта ночь словно открыла глаза и впервые взглянула на него, как на пришельца, иноверца. Он стряхнул оцепенение, лег на скрипучую деревянную кровать и подтянул к подбородку одеяло.

Лунный сумрак стоял в комнате, как морская вода, сквозь него проступала кирпичная кладка там, где обвалился кусок штукатурки. На резном столбике кровати лежал тусклый блик. Еще секунду слышался монотонный говор дождя, а потом все стало глохнуть. Он почти заснул, но что-то не отпускало до конца: нечто безымянное, жестокое смотрело ему в затылок пристально, неотвязно, зверовато.

Было полнолуние, конец апреля, он засыпал и не мог заснуть в старом кирпичном доме, где раньше жил епископ Дерпта Герман Вейланд.

Он все-таки заснул – и едва заснул, как начал падать, но не вниз, а вверх. Это было последнее, что он успел понять, и удивился.

Он не знал до сих пор, что живет, ест, пьет, ходит в огромном сером мешке из грубой мешковины, привычном, грязноватом, и не замечает даже, что совсем отвык от свежего воздуха, слез и смеха. Он даже забыл, что это такое. Но сейчас, в миг освобождения, вспомнил. Его резко вынесло вверх, к просвету-прорыву в мешковине, просвет опахнул его ветром, втянул в себя, и он вырвался на луговой влажный свет, ощущая его трепетом всего тела и улыбаясь неудержимо, потому что вернулся в молодость. Она оказалась не сзади, в прожитом, а впереди. Это было невероятно, но несомненно: он сразу узнал этот заболоченный берег, луг, ископыченный табунами, тележную колею в раздавленной траве, вспорхнувшую трясогузку, облака в мудрых тенях, в белых искрах скрытого солнца. Ветер повалил поржавевшую осоку, он входил в полуоткрытый рот, продувал гортань и ноздри привкусом мокрой глины, ольховой коры, можжевельного дымка.

Костер еще вчера разложили табунщики на том берегу Казанки и так и не залили, хоть он приказывал; хвойный дымок отбивал вонь селитры и тухлого мяса.

Все это давно знакомо, понятно, но одновременно он падал вверх, туда, где сквозь ряднину облаков приближались бледные незнакомые созвездия, которые невозможно увидеть днем, и не тело, а нечто, стремящееся из тела, его невесомая суть, с невероятной скоростью удалялось от этого луга в небесное жерло. Он был беспомощен, но спокоен, он уносился, но лежал, и сырая земля холодила потную спину. Он дернулся на постели, полупроснулся и напрягся от мысли-открытия: «Если прошлое стало будущим, то будущее станет вечным». Эта мысль проросла сквозь тени и облака, пока душа еще хранила ощущение полета-падения в милый

травяной и солнечный край, знакомый, как сон детства, и он позвал, как тогда: «Иван! Иван!» Он умер там за первого своего царя Ивана и потому позвал только его.

Теперь он, кажется, проснулся совсем, но его еще не было здесь, на одинокой постели. Он был там, на смотру, перед штурмом Арской башни. Они стояли в конном строю после молебна, он смотрел на лицо Ивана, такое молодое, закинутое к облакам, на его плачущие глаза, слушал рвущийся голос: «... А если умрем, то не смерть это, а жизнь!» Андрей чувствовал, как горячая соль разъедает его веки, стекает в сердцевину груди, где гулко колотится сердце. «Да, да! – говорил он Ивану, себе, всем. – Да! да!» Он положил руку на грудь: да, удары толкались в ладонь, он хотел ощутить вкус слез, но не смог; все иссякло теперь. Но он смог опять увидеть, как два смугло-скорбных размытых лица наклонились к нему и знакомый голос стремянного – Васьки Шибанова – сказал: «Моргает – жив!» Он узнал и второго – князя Петра Щенятева, ровесника, друга; он хотел сказать: «Да, это я, жив я!» – но только замычал и испугался: он лежал на разрытой земле голый и мокрый от кровяной воды; его раздели, обмыли, и тогда он очнулся. Но он не хотел возвращаться к людям. Почему? Правда, это длилось только миг, когда очнулся в крови и холоде, но с ясным ощущением недавнего полета. Поэтому, второй раз теряя сознание, когда его стали поднимать на носилки, он не боялся ничего.

Это было двенадцать лет назад, второго октября, в день штурма Казани, на той луговине, где они с братом Романом пытались обскákat и задержать прорвавшихся татар хана Едигера. Он помнил щетину стрел, визг и скрежет стали и удары в панцирь, в шлем. Он рубился, пока не пал конь и не придавил его. Тогда он откинулся на спину, лицом в облака, и отдался полету-падению в живое беспамятство. Это было как ощущение Истины. Может быть, это и была Истина. Всякое было после того: и грязноватое, и страшноватое, и лукавое, но ничто не могло истребить воспоминание об Истине, если это действительно было она. Он ощутил это, открывая глаза в темный потолок.

Он лежал на спине в комнате дерптского епископа, он, князь Ярославский и друг самодержца русского, царя Ивана, но жив был он не сейчас, здоровый, знатный, сильный, а тогда, обескровленный, нагой, придавленный, убитый конем.

Он тронул кончиками пальцев задубевший рубец сросшейся ключицы, повел мускулистым плечом. Ощущение невероятного медленно уходило, как вода в землю, он попытался удержать его и опять увидел хмурый рассвет того дня – сорок третьего дня осады Казани, последнего оплота поганых.

На западе небо обложило плотно, ненастно, а на востоке очистило слюдяную желтизну, а там серо-синими кубами высились крепостные стены, чернел уступ Арской башни и два пальца минаретов главной мечети. За мечетью что-то смолисто дымило еще с вечера, и оттого минареты казались обугленными, а острый полумесяц на одном изредка вспыхивал злым жалом. Было холодновато, полупрозрачно и так тихо, что из их полотняной церкви Архистратига Михаила, где царь слушал заутреню, доходило каждое слово. Андрей стоял у землянки своего полка, прислонившись к мешкам с песком. Его полк вместе с отрядом Романа и полком Петра Щенятева прикрывал выход против Ельбугиных ворот. Он, как и все, ждал, сжавшись, напрягаясь, пытаясь слушать молитвы, которые читал дьячок низким речитативом. При словах: «Да будет едино стадо и один пастырь», – свершилось: дрогнула под ногами земля, вспучилась горбом под стеной и лопнула, огненный столп взметнулся в черно-сизых клубах выше башен. Зарница распахнула пасмурное небо, и туда выбросило с тяжким грохотом ввысь бревна, комья, трупы, раскаленные камни. Слепая волна ударила в рот, в уши, повалила на колени; сморщившись, Андрей смотрел вверх, где в распахнутом небе кувыркался маленький безногий татарин. А потом в тишине только сыпались на стан, на город обломки, ошметки, стучали комья частым градом, и сквозь этот град закричали трубы от Царевых ворот: «На приступ!». Это повел передовой полк Михайло Воротынский, и сразу ответили ему от Хилкова и Басманова, а брат сказал Андрею: «Пора!» Когда завалился конь и придавил ногу, бедро, Андрей еще миг видел

брата в густом мельканье стрел, в пыли и прахе скачки, и только когда брат упал с коня, он перекинулся на спину и почуял, как пудово давит в пах. «Тогда я любил Ивана, – подумал он горько, безнадежно. – Тогда Иван меня тоже любил. А началось наше единение с того пожара, с клятвы в селе Воробьево...»

Он глянул в амбразуру окна, лунную, бессонную. Кто-то смотрел оттуда, ждал. Кто? «Может быть, это Бируте, лесная дева, о которой рассказывал Бельский? Но что ей тут делать – она ведь из литовских лесов, а здесь замок епископа, здесь немцы жили... Нет, это не Бируте, ее, может быть, в Литве я встречу, если буду в Литве когда-нибудь. А почему нет?»

Было тридцатое апреля, ночь глухая, глазастая. Он знал, что здесь, в иноземных краях, надо быть начеку – у них ведь свои, незнакомые волхования, здесь нельзя ни на кого надеяться. Особенно ночью. Ночь тянула выйти, отдаться, но он не хотел идти за нею и стал вспоминать то, что и тогда, и теперь было самым главным в его военной бродячей судьбе.

«Да, Иван, государь всея Руси, в Воробьево переродился до дна – я сам свидетель, – стал мудр, кроток, даже честен. Кто ж его потом сглазил, совратил? Но тогда – до дна!»

Глаза его были широко открыты, но он не видел потолочных балок с клоками паутины – он шепотом говорил сам с собой, вызывал прошлое, и оно всплывало сначала нехотя, а потом все гуще, телеснее, заполняя чужую сырую комнату дальними сполохами большой беды.

На горы в село Воробьево за Москву-реку Иван с семьей бежал во время великого пожара в июне сухом и страшном тысяча пятьсот сорок седьмого года. В этом году стал Иван коронованным самодержцем и решил, что ему, помазаннику Божию, все дозволено. Так говорили некоторые смелые за глаза, а в глаза ему боялись смотреть – ревнивый и быстрый был у него взгляд, черный зрачок вlepлялся, испытывал мгновенно и уходил вбок, прятал тайную мысль.

Боялись не зря: помнили все, как псары зарезали Андрея Шуйского и бросили голый труп у Курятиных ворот, как отрезали язык дьяку старому Афанасию Бутурлину, как псковским челобитчикам опалили бороды. Но всего противней для Курбского была казнь его сверстников, товарищей по играм, Ивана Дорогобужского и Федора Овчинина. Вместе с ними тогда соколов напускали на уток у Коломенского. Дорогобужский Ваня был всегда весел, насмешлив, ни шута не боялся – на ловах ли на медвежьих, в походе ли, в беседе. Был легок на ногу, да и на язык, лошади, собаки, люди – все его любили. Что он такое сказал тогда Ивану, улыбаясь беспечно? Иван обернулся с седла, глянул через плечо пристально, быстро, а когда спешились у соколиного двора в Коломенском, Иван, без году неделя как царь, крикнул страшно, всем нутром: «Взять его!» – и Дорогобужскому заломили руки, повисли на нем, а он рвался, звал недоуменно, отчаянно: «За что, князь, за что?» – «Я те не князь!» – крикнул Иван и ушел в сени. Через час Вани Дорогобужского не стало. Андрея тошнило, а Федька Овчинин вступился, и ему тут же на бревнах срубили голову.

Это был бред, потому что это было бессмысленно. Не тогда ли надели на него и на всех мешок огромный? Но пришел Сильвестр и мешок развязал: чудо, да, чудо.

В январе – венчание на царство, в феврале – свадьба с Анастасией, в апреле – сначала один пожар (замечай!), потом другой (взгляни на себя!), третьего июня упал большой колокол (по пророчеству!) и тем спас псковичей-челобитчиков – отвлек царя, а двадцать первого июня с рассвета поднялась буря и стала огненной к шести утра.

Буря шла с востока.

Занялось у Воздвиженья на Арбате, бросило на посад от Никитской за Неглинную, аспидно клубилось в полнеба, черными горящими птицами несло через стену головы, тесины, с ревом вставала стена огненная, скручивались листья, спекались яблоки на ветках, метались ошалевшие люди.

Лицо Ивана было, как на иконе, бронзово-ало, неподвижно, а глаза – полубезумны. Они стояли в Кремле, в сенях Золотой палаты, у выхода теснились люди, на иных дымилось платье,

волосы, по двору дождем сеяло искры, ахнуло, обвалилось что-то за теремом, и кто-то сказал: «В оружейной!» – а кто-то крикнул: «Боровицкие горят!» – и тогда стольники и телохранители сбились клубом и стали молить: «Бежим!» – но Иван все смотрел на Андрея, пытал зрачками и молчал.

Только в селе Воробьево с горы открылось все несчастье до конца: Москву охватило с Кремлем и монастырями, и люди, и сады, и иконы, и посадки – все гибло. Гибло и раньше, да не так. «Кара!» – громко при всех сказал духовник государев протопоп Федор Бармин. И шептали вполголоса, а потом закричали многолюдно на площади: «Бабка царева Анна Глинская литвинских демонов призвала, вынимала сердца невинных, в воде мочила – видели! – той водой кропила посадки и Кремль, и оттуда огонь восстал всем на погибель!» Сгорели Успенский, Благовещенский, Чудов монастыри с сосудами и дарами, едва не сгорел митрополит Макарий, а всего сгорело до смерти несколько тысяч с младенцами и стариками. И тогда восстали простые люди, в ярости искали мести. С богослуженья из собора при царе выволокли Юрия Глинского, убили, бросили, ободрав, на торгу и порушили усадьбы Глинских, выбили их холопов, кричали: «Выдай Анну-волхву, выдай!»

Иван сидел в селе Воробьево, бездействовал странно, все качалось зыбко, в дымном небе темнело солнце, нечем было дышать.

Тогда впервые Андрей увидел истинного Сильвестра. Тихий молчальник, русый, низенький, сутулый, он вышел с Иваном из придела, где молились они вдвоем всю ночь. Андрей со стражей стоял близко, смотрел и не узнавал Ивана: в смиренном платье, нечесаный, лицо опухло и веки красные, а главное – взгляд: ни на кого, ни на что, сквозь стену и вещи, человеческий и скорбный, как никогда до того.

Это было в крытой галерее, которая соединяла храм с теремом; в оконце светила заря, делила тьму и сумрак, лица и панцири стражи. Сильвестр остановился, заговорил, никого не замечая, протянув руку к заревому квадрату в срубе:

– Спаси их, Господи, спаси нас; помни, Иван Васильевич, помни!

И царь, как послушник, склонился почти до пола, выпрямился, ударил себя в грудь, отозвался со страхом:

– Помню, отец, помню!

Теперь оба они смотрели туда, в дымное зарево (или в зарю?), и что-то там видели: Сильвестр побледнел до прозрачности, морщины его истончились, точно просвеченный изнутри лед, он безостановочно медленно крестился, а Иван тоже бледнел, его мелко трясло, он как-то сипло каркнул и рухнул на колени, припав лбом к половицам. И всем – и страже, и Курбскому – стало жутко, потому что не мог так человек притворяться; тряслась его спина, заросший затылок, а значит, он действительно увидел нечто, что для человека непереносимо.

С улицы донесло крик, рев, топот, что-то сильно ударило в стену: булыжник кинули. Это шумели ходоки из города – требовали выдачи Глинских. Андрей не знал, что делать.

Царь встал, лицо его стало сосредоточенно, осмысленно, он поискал взглядом, поманил Андрея, до боли сжал ему плечо, заглянул в глубину глаз, сказал бесстыдно-откровенно:

– Не дивись, Андрей, на меня: кошунников Бог жжет неугасимо! Молись за меня, окаянного.

Крики во дворе стали злее, настырнее.

– Не этого страшусь, – сказал Иван чуть надменно, – хоть некому меня оградить от черни, не их, а – чувствуешь? – возмездия Божия... Сюда за мной идет, ночью видел: следы его по берегу сюда все ближе рдеют, жгут... И все ближе, ближе!

Андрей смотрел в незнакомые расширенные глаза, страшился, верил и не верил.

– Будешь со мною, Андрей?

– Буду, Иван.

Он впервые со времен детства так сказал: «Иван», – этого теперь никто не смел, но именно это толкнуло Ивана, налило его глаза до краев, он прижал Андрея к груди, и стало слышно, как колотится его сердце.

– Обещаю тебе, – шептал Иван в самое ухо, – тебе, любимому, и всей земле обещаю...

И повторил это потом на соборе: «...Нельзя языком человеческим пересказать всего того, что сделал я дурного по молодости моей... Господь наказывал меня за грехи то потопом, то мором, а я все не каюсь; наконец, Бог наслал великие пожары, и вошел страх в душу мою и трепет в кости мои...»

С того дня настало новое время. Это время длилось почти шесть лет, и называл его Курбский «время Избранной рады», а виделось оно ему в мечтах: холмы в весенней зелени, увенчанные каждый белокаменной церковкой, как березкой, и меж холмов речка и озера поблескивают, а мимо по мягкой дороге идет отборный полк стрельцов с песней и бубнами, ровно, стройно – регулярное войско. Сам же он под стягом на белом коне во главе полка, и свет из облаков падает на холмы, на шлемы, на радостные лица. Это – Русь, воскрешенная Избранной радой, православная, милостивая, но непобедимая. Дух ее – от преподобного Сильвестра, мудрость – от Алексея Адашева, сила – от воеводы Курбского, а единство – от великого князя Ивана Васильевича, переродившегося, и все, и вся вокруг него, как пчелы вокруг матки.

Это был лишь образ мечтания, но за этим стояли и дела: сначала собор примирения, потом Стоглавый собор, притекали лучшие умы – Морозов, Тучков, Максим Грек, Иван Федоров, даже Пересветов в своих писаниях во многом был прав... Сам царь Иван Васильевич произнес на соборе вопросы, которые поколебали сонное болото думское: с кого какие налоги брать? как местничество обуздать? как пресечь воровство на кормлениях воеводских? в чем исправить старый устав судебный?

И что же: наместников проверяли, в судах появились выборные из земщины, из «лучших людей», тысяча дворян и три тысячи стрельцов стали ядром постоянного войска, обложили податью и знатных, не только народ, а монастырям урезали земли: не богатством славна вера, как и кирилловские старцы писали.

Все шло к обновлению: из Дании выписали печатника, а скоро открылся и свой, приглашали заморских и других мастеров, лили пушки и колокола, снаряжали суда в Архангельск, расписывали Благовещенский собор... Сильвестр начал с семьи – писал и учил самого царя; разум, чистота нравов, мир и сила – все сливалось, чтобы родилась новая Русь.

Так казалось не только Курбскому: многие из избранных трудились бескорыстно и говорили смело, а особенно Алексей Адашев.

Недаром ему отдан был самый трудный удел – прием жалоб со всего государства. И он судил беспристрастно, милостиво, невзирая на лица. Был он высок, белокур, серые глаза всегда тихи, внимательны, и голос тих. Прежде чем ответить, задумывался, потом, тряхнув волосами, отвечал по порядку, негромко, но твердо, и мнения своего без нужды никогда не менял. Иван Васильевич тогда имел с ним «любовь и совет», а венцом всему была Казань...

Люди, люди! Даже не сами дела, слова, события, а их оттенки, их скрытый смысл, казалось, постигал Андрей, вспоминая день за днем. В комнате смутно светлел квадрат окна, ночь шелестела мокрым садом, слушала его мечты. «Русь, Русь наша! – позвал Андрей беззвучно, тоскливо. – Иван мне верил тогда, он и Алексею Адашеву верил. Кто наговорил, сглазил? Как поднялась рука Алексея со свету сжить – он ни единой нитки себе не взял никогда?»

Он повернулся на бок, горели щеки, гневное бессилие гнало сон. «Алексея тоже сюда выслали, в Юрьев-Дерпт, и Хилков, наместник, над ним измывался, говорят, а потом горячка? Нет, не верю! Может, он вот на этой постели и умер? Говорили, руки наложил на себя. Не верю! Он Христу был предан до конца! Отравили его. Да, да! Но меня Иван не отравит, меня Иван с юности любил, и я его; когда все от него отложились, я был верен...»

Чувства стали сухи, жестки, он говорил себе все это, но мысли шагали бесслезно, они теперь обличали, взвешивали, искали опасности здесь, рядом. Почему-то всплыло длинное подслеповатое лицо дьяка Шемета Шелепина, который приехал в Юрьев позавчера по пустому делу и к Курбскому не явился, а встал во дворе Бутурлина. Шемет Шелепин был известен тем, что один остался на свободе после разгона Челобитного приказа, который возглавлял Адашев. Андрей ощущал, что опять незаметно попал в этот огромный скучный мешок и бредет в нем неведомо зачем и куда. Куда? А куда брели все, кто попал в мешок этот? В застенки, вот куда!

«Иван мне верил. Но Семен Бельский говорил: „Он мне тоже верил, а потом велел убить, как пса!“ Потому Семен и ушел в Литву. Как пса? Был пес, его звали Рогдай. Выжлец годовалый, дурашливый, голенастый...»

Андрей откинулся на подушку и увидел карие преданные глаза пса. Прохладный влажный нос ткнулся в руку, щенок тявкнул, неуклюже подпрыгнул и лизнул Андрея в подбородок.

– На, дай ему, – сказал Иван и протянул кусочек мяса. – Мани его за нами, пошли.

Иван зачем-то лез по внутренней лестнице дворцового терема, а они с Рогдаем за ним. Им тогда с Иваном было лет по двенадцати, и в этот пасмурный скучный день с утра было лень даже на траве валяться, не то что лезть куда-то на верхотуру и пса за собой зачем-то манить.

Вверху, на кровле, стало жутко от высоты, ветер шевелил волосы, засасывало сладко в каменную пропасть, на дне которой пестрел булыжник двора. Это был самый высокий терем в Кремле. Щенок глянул вниз и поджал хвост, ноги его мелко дрожали, косил испуганный глупый глаз. Иван взял его за шкуру, подтащил, перехватил под пузо и швырнул через парапет в пустоту. Мелькнули растопыренные лапы, жалобный вой удалялся, глух и оборвался мокрым ударом. Иван, перегнувшись, смотрел вниз жадно, пристально; лоб пошел пятнами, глубокие ноздри дышали, толстый рот растянулся в полоску, будто он смеялся беззвучно. Такой рот у него бывал на торговых казнях.

– Ишь, еще шевелится! – сказал он с удивлением, понюхал зачем-то ладонь, вытер ее о штаны. – Как думаешь, опоганился я? Он меня обмочил.

Андрей молчал: во рту пересохло, зубы стиснулись – не разжать.

– Велю Афанасию очистительную молитву прочесть, – задумчиво говорил Иван. – Пес – нечистый зверь. Вот конь – другое дело. Пошли?

– Зачем ты его так?

– Утром кормил – окрысился на меня, – ответил Иван. – Пошли, чего встал? Кошка на лапы падает, но отсюда и кошка...

Андрей вытер вспотевший лоб, открыл глаза, откашлялся. Ночь все никак не кончалась, душно было, пусто.

«А ведь щенок так Ивана любил», – подумал он.

– Безумец, больной, одержимый... – сказал он с тоской. – Кто же ты, Иван? Кто ты, великий князь Московский?

Опять откуда-то встряло длинное благообразное лицо Шемета Шелепина, тускло-непонятно смотрели его черные глазки. «Почему он во дворе у Бутурлина встал и ко мне сам не явился?»

Тусклые глазки Шемета и бегучие зрачки Ивана Грозного – и неожиданно он увидел в Иване одну скрытую темно-живучую жилочку, которая, может быть, все объясняла. «Может, я от черемухи охмелел и потому почуял их? Они и в праведников, говорят, вселяются, не то что в него, преступного!.. Но если это они, неизгнанные (а кто возьмется их изгнать?!), то Иван невиновен? Преступен, но невиновен и – непобедим, потому что с ними не борются, от этого бегут... Говорят, Иван начал целыми родами истреблять, от стариков до младенцев, сам бы он не дошел до такого, нечеловеческого».

Это были не мысли, а темное мучение, и чтобы избавиться, он искал на ощупь ответа. «Разве может одержимый, в которого вошло это, людьми править, нами, народом, отечеством родным?»

Нечто приблизилось вплотную, и думать дальше стало страшно. Ни внутри, ни вокруг ответа не было. Молчала лунная ночь, наблюдала равнодушно. Ночь светила в квадрат окна, разрубала пол, ложе, стену; она дышала все ближе дурманом женским, душистым; какое ей дело, чужеземной, непонятной, до каких-то русских вопросов? «Огради мя силой честного Твоего, животворящего...» – вяло, отстраненно вспоминал Андрей, нащупывая и не находя креста на шее; ему и не хотелось искать-то по-настоящему – хотелось сгинуть, спрятаться; наползала, прикрывала какая-то ленивая томность, обволакивала, опутывала; расползались, утекали в щель мысли-слова; что-то отвлекало, втягивало в лунный провал все неудержимее, сладострастнее... Теперь он стал бескостен, бескровен, а она, эта женщина, смотрела на него из сада узко, пристально, голая, матово-белая, в лохматых волосах запутались лепестки, голубовато светились белки глаз и полоска зубов под верхней вздернутой губой. «Бируте! Это она!» – вспомнил он. Плыли стены, камень просвечивал, как лед, чужие коварные пальцы касались незащитного горла. «Уйди!» – сказал он бессильно. – Не надо!» Но она лишь усмехнулась, и он понял, что сейчас она овладеет им насильно. Дуло в щель окна сырым ароматом, плотским, как из чрева жрицы Бируте, хранительницы огня, когда Кейстус, великий князь Литовский, поял ее в зарослях черемухи на священной горе Рамбины, где капище древних идолов. А теперь она мстит...

От ужаса он напрягся, разомкнул ее руки, вспомнил имя Бога и еще раз проснулся от собственного страшного стога. «Что со мной сегодня? – спрашивал он, озираясь и утирая пот. – Или меня опоили слуги? Да и спал ли я? Что за ночь? Ночь с апреля на май, когда цветет черемуха. Как же я забыл! В такие ночи выходит из лесов обманутая Бируте. Никто еще не вернулся домой после встречи с ней». Так рассказывал Бельский, когда она мелькнула перед ними и исчезла.

Они медленно ехали верхами по сырой тропке через орешник, брякала сбруя от неспешного шага, медленно тек тайный опасный разговор вполголоса.

– Когда привезли ему в Смоленск письмо Сигизмунда, – говорил Бельский, – со страху донес он о том Ивану. Награды ждал...

Бельский замолчал, жестко прищурился в никуда; осторожно ступали кони по солнечным бликам, шуршала шершавая листва по колену, по стремяни.

– Ну?

– Ну, а царь Иван наградил его плахой и всех свойственников его извел, а в Смоленске сделал пусто...

Кони всхрапнули, шарахнулись: гибко, широко, словно лань, через тропу перемахнула долгоногая дева, мелькнула мокрая рубашка, облепившая грудь, летящие волосы, дикий взгляд, и остро вспыхнули беличьи зубы, когда Бельский крикнул, смеясь:

– Бируте!

– Кто это? – спросил изумленно Андрей.

– Брата дочка. У нас тут двор охотничий, купалась она в пруду... Бируте— это я ее дразню. Ее имя – Анна. А ты знаешь, кто такая Бируте? – И он рассказал литовскую легенду. – Ты веришь, что древние боги выходят, если их позвать? – спросил он Андрея.

Андрей нахмурился.

– Не знаю, – сказал он холодно. – За чародейство церковный суд карает тяжело, после Иосифа Волоцкого некоторых за ересь, говорят, сожгли.

Бельский покосился, поджал губы, но Андрей прямо, честно глянул ему в глаза.

– Иосифа я чту, но и то, и это мне претит – грех!

Бельский не ответил, в лад, не спеша ступали кони, в тени кустов было прохладно, но впереди, на травяной поляне – жарко, сухо, пестрели ромашки, трещали кузнечики.

– Она замужем? – спросил Андрей и опять нахмурился.

– Анна? Нет. Сигизмунд никого ни к какой вере не неволит. Ни к римской, ни к Люте-ровой, ни к нашей.

– А сам-то он во что верит?

– Сам он, как король, римской веры, но, говорят, и Лютера чтит.

Андрей сплюнул, тронул коня поводом. Чаше застучали копыта, их вынесло на чистое, под солнце, бабочка пересекла тень, запахло пылью и земляникой.

– Не говори, Андрей, никому.

– Не скажу...

– Верю тебе. Брат мой тебе верит и я.

– Не скажу.

«Вот такая сегодня ночь, а я расслабил ум и волю, – сказал себе Андрей. – Здесь, в Дерпте, храм стоит на месте капища, рыцари ордена крестили народ плохо, и в эту ночь могут демоны изгнанные бродить по городу... Надо дом запирасть и на воротах, ставнях писать мелом кресты, как крестьяне делают, а я валяюсь в дурных мечтаниях...»

Он крепко растер лицо, перекрестился.

«Недаром здесь церковь нашу Николы Чудотворца еретики разорили, сейчас на ее месте конюшня, грязь, навоз... И в Риге, и в Ревеле наши церкви разорили в пятьдесят третьем, все им с рук сходит, а мы, дураки, свое слово держим: когда город сдался Петру Шереметеву, по договору все горожане остались в своей вере „аугсбургской“, даже деньги свои чеканят по-прежнему... Здесь, в городе, какой-нибудь чумазный ремесленник ходит задравши нос – попробуй тронь его! Вот как их Иван почтил: в день сдачи наши охраняли жителей крепко, пьяных своих запирали, упаси Бог хоть нитку взять! А епископ Герман Вейланд вышел из города со своими дворянами под знаменем ордена со своей артиллерией, и две тысячи кнехтов с ним, и дали ему на содержание монастырь Фалькенау в двух милях от Дерпта со всеми землями и пошлинами. Это не то, что в Казани, где всех мужиков татарских избили с их мурзами! Да что Казань – попробовал бы Псков или Новгород просить такой воли! Что ж, это нужно, я пони-маю, ведь отсюда на запад дорога в мир умный, в Рим и французские города, в науки и искус-ства... Ведь и здесь по праздникам в корчме играет музыка, горят белые свечи, а сколько книг и списков вывез епископ из этого дома! Одних латинских две подводы... Давно ли осада была, а в городе чисто, деревья подстригают и розы высаживают, площадь у ратуши подметают, как пол в доме, и смеются, и ходят свободно, а я лежу, как преступник какой, и не сплю, слушаю, не идет ли за мной тайная стража Иванова... Недаром не отпускает тоска с зимы, с того дня, когда приказали именем царевым сюда ехать, а ведь после Полоцка и не наградили ничем, как остальных. Почему? Правильно написал я старцу печорскому Васьяну Муромцеву о том, как вскипают страсти злые на нашу голову от дальнего Вавилона».

Мысли опять закрутило колесом, отнимая сон. Курбский смял кулаком подушку, словно под ней таилась бессонница, и приказал себе не думать ни о чем. Он твердой рукой взял со стола чашу, отпил, поставил и еще раз приказал себе спать, как в походе, под носом у врагов, десятки раз приказывал себе и спал, потому что он был воин и с шестнадцати лет командовал людьми, водил их на смерть, отвечал за все, и завтра будет такой же день, как всегда, и он так же будет решать все один, так, как надо, и о Шемете Шелепине, и о других, и будет тверд, а если надо, то и беспощаден, потому что для него война не прекращается никогда. Тем более на границе, в ливонском городе Дерпте, который не стал русским оттого, что его называют сейчас Юрьевом. Завтра будет новый день. «Тогда и будем думать».

Он завернулся поплотнее от предрассветного холода и мгновенно глубоко уснул.

2

В третьем часу ночи огромное тело Андрея Курбского очнулось от слепого забытья и насторожилось всей кожей, хотя разум еще спал: в соседней прихожей шептали-спорили два голоса, потом кто-то вошел неслышно, замер во тьме, пытаясь по дыханию определить, где лежит спящий. И тело Курбского сжалось, напряглась рука, потянулась к оружию, остановилась на миг от хриплого: «Беда, князь, вставай!» – и цепко обхватила рукоять кинжала под подушкой. «Беда!» – «Кто? Кто?!» – прохрипело горло, и, только уловив в этом вскрике срыв, панику, очнулись разум и воля, сжали дрожь, заставили взглядеться и рывком сесть.

– Кто здесь? – ясно спросил Андрей.

Он не ощущал ничего, кроме толчков крови в ушах и готовности ко всему; страха не было – это стоял человек. А ничего человеческого он сейчас не боялся.

– Я это, – ответили из темноты, и он сразу узнал сипловатый спокойный басок Ивана Келемета, который должен был сейчас быть в Москве, а не здесь стоять.

– Келемет? Когда вернулся? Зачем?

– Ночью. Слуг матери твоей, княгини, схватили. На дорогах заставы, я гнал в объезд. Вставай, князь, твоей жизни ищут...

От Келемета воняло сыростью, болотной грязью, конским потом. Андрей больше ничего не спрашивал, он молча одевался, движения его были скупы, быстры, расчетливы, руки сами знали, что делать, – не первый раз по боевой тревоге работали они, вооружая его тело, а разум сам по себе думал о другом, о главном: поднять полк? идти в Полоцк к Репнину? а может, еще обойдется? «Не посмеет... Нет ему ближе меня...»

– Всех, кто Алексея Адашева привечал и Сильвестра, взяли. Скорее, князь.

– Кого еще? Свет зажгите.

– Свет не вздувайте, – предупредил Келемет, – следят за домом, я еле пролез, по задам пробирался.

– За домом? За моим?

Нарастал гнев, и крепла воля; это было похоже на вылазку из крепости, на войну.

– Не только за домом: во всех воротах караул вчера сменили, я говорил со знакомыми – и у Рижских, и у Домских, у Немецких и Яковлевских – везде Бутурлин своих поставил.

– Своих? Кто посмел без меня?!

Но уже понял, кто: «Шемя Шелепин привез тайный приказ, и, как всегда это было, наместником станет Бутурлин, а меня схватят...»

В полутьме угрюмой тенью маячил Иван Келемет.

– Скорей, князь, не мешкай. Александр Горбатый-Шуйский велел сказать тебе прямо: «Беги или умрешь».

– Сам так и сказал?

– Сам. При Даниле Адашеве, брате Алексея, и сыне его Петьке. Я у них ночью в пятницу был, а наутро в субботу их схватили...

– Кого?

– Данилу, сына его и зятя, и в понедельник уже казнили, а я сразу бежал.

Дышала, сжималась горящая полутьма, кровь толкалась в темени: лучших, честнейших, без суда... За что?

Келемет пошевелился, повернулся к окну: с улицы донесло скрежет подковы по камню, перестук копытный. Ночная стража? Или?.. Курбский, не дыша, на ощупь затягивал пояс с тяжелой саблей, слушал – подковы цокали глуше, дальше. Стихло. Страх пропадал – пересиливала, затопляя, ярость, твердели желваки скул. «На кого ты, Иван, руку поднял!»

– Значит, Бутурлин ворота запер, а Шемет Шелепин меня ловить приехал? – заговорил он медленно, зловеще. – Что ж, моих людей тут тоже сотни две наберется: пойдем тотчас, схватим Федьку Бутурлина и Шелепина этого, да и повесим на башне! – Он кусал губы, наливалось лицо, грубел голос. – А сами пойдем в Полоцк, к князю Репнину, подыдем все войско, пошлем к думе, в Москву – не хотим Ивана на царство!

Он задохнулся. Келемет молчал, в полумраке казалось, что глаза его фосфорно засветились, но ответил он бесстрастно, тихо, только осел сипловато голос:

– Поздно. Разве не знаешь? Князь Михайло Репнин в Москву отозван был, и там во время вечерни его в храме зарезали. А князя Кашина тоже так, но на утренней молитве...

Это окатило, как ледяной стужей, это было уже не человеческое, а то, оно, с которым не договариваются. Седой Репнин и полководец Кашин добывали царю и Полоцк, и Нарву, и другие города, а их зарезали в храме, на глазах у праотцев, у святителей и чудотворцев российских... «Кошунник я, Андрей, молись за меня – Бог жжет кошунников неугасимо!»

– Неугасимо! – сказал Курбский вслух, и Келемет шевельнулся. – Буди всех, будем пробиваться из города!

– Поздно... Я всё объехал снаружи, осмотрел. – Он шагнул к окну, послушал ночь. Дождь перестал, было тихо. – Может, только если через пролом... Там, где мы еще не заделали, возле Монашеской башни. Спустимся, а потом берегом, через пойму – туман нынче холодный, выше росту по росе. Я уже Мишку послал посмотреть, как там. Наши по башням спят, спокойно все. А?

– Через пролом... А потом?

– Потом на мызу на притоке, как его... Ну, к Рижской дороге. Там наш табун на отгоне. Я и туда послал двоих... Скорее, князь, светает. А если здесь биться, все одно я живым не дамся!

Еще секунду князь стоял неподвижно, опустив голову, сжатые кулаки оттягивали опущенные руки, кривился рот. Потом он сказал сквозь зубы:

– Пошли... Живыми не дадимся!

Нашупал, до боли сжал крутое плечо Ивана Келемета, а Келемет – ему.

Окно посветлело – выплыла луна, зеленоватый квадрат четко вырезался на полу, и они вышли. Проходя мимо лестницы на второй этаж, где спали сын девятилетний и жена, Курбский приостановился, но Келемет дернул за рукав, и он, горько сморщившись, шагнул через порог в сад.

Он больше не думал ни о чем, кроме врагов. Как в тылу у ливонцев, в разведке, он больше ничего не чувствовал, кроме холодного расчета, жестокости к себе и другим, злой радости риска. «Ты мне ответишь за все, за всех, сыродец! – сказал он царю Ивану в упор, из глаз в глаза. – Богу карающему, шут, предатель!»

Он шагал, огромный, мускулистый, зоркий, за Келеметом; от аромата черемухи ломило виски, он ничего сейчас не хотел, кроме свободы и мести. За ним шло еще человек десять самых надежных. Все они уже ждали его во дворе и почему-то были полностью готовы, вооружены, собраны для дороги, хотя он никому ничего не приказывал.

Келемет и Гаврила Кайсаров шли узкой улочкой впереди – они первыми, если встретится ночной дозор воеводы Бутурлина, должны были или обмануть, или начать бесшумное убийство. Потом шел князь и с ним Василий Шибанов, остальные – тесной кучей – сзади. Никто не говорил ни слова.

В вышине, над уступами храма Петра и Павла, плыли лунные тучи, чернели кровли башен, и все спало каменно, беспробудно, только приглушенный топот ног отражали слепые дома ганзейской гильдии, мимо которых они шли. Вот поворот к крепостной стене, вот четырехгранник Монашеской башни и правее – пролом, за которым в глубине низины клубился молочный туман. Черные кирпичи развороченной взрывом кладки, запах селитры, гранита, скрип врезавшейся веревки, частое, натруженное дыхание, шепот. И непрерывное сжатое жи-

дание окрика, огненного удара из амбразуры, вопля боевой тревоги. Но все было тихо: русские стрельцы презирали разбитых ливонцев, спали сторожа, спали караульные наряды при пушках. А луну то закрывало, то открывало, и скала древнего собора все чернела в высоте.

Но вот и берег, туман по плечи, вкус его во рту, однако чувства свободы не было. Теперь они брели поймой, чавкала вода, свистела осока по голенищам; они брели в плотном предрасветном тумане, как в огромном мешке, и сквозь рядно мешка медленно светало, а это значило, что их могут увидеть, потянуть шнур и затянуть горло мешка – задушить.

Они шли сквозь липкую белесую мглу, как сквозь сон, еле двигая ногами, шли на темное пятно впереди – там была роща, осиновый клин, там была тропа на Печорскую дорогу. Осинник их укроет, только бы успеть, пока не рассвело! Где-то рядом скрипел дергач – луговая птица, – замолк, и вот уже прутья подроста защелкали по плечам. Они остановились, прислушались – тишина. Светало все сильнее, уже видны были ближайшие осины, жидкие клоки путались в сучьях, где-то сзади далеко пропели петухи на посадке, а другие откликнулись в городе, и все оглянулись туда. Чвиркнула сонно первая птаха. Андрей услышал шорох, шаги в чаще, схватился за саблю. «Я это, Мишка!» – сказал веселый мальчишеский голос. Это был Мишка Шибанов, отрок, племянник Василия Шибанова. Мишка ездил с Келеметом в Москву. Откуда он здесь?

– Привел? – спросил Келемет и довольно усмехнулся. – Пять коней? Это я ему на всякий случай наказал вчера здесь ждать.

– Пять? А нас двенадцать, – сказал Курбский. – Нет, или все, или... Один я не побегу.

– Светает, князь, беги, – ответил Келемет недовольно. – Переловят!

– Слышал – нет! Мишка! Скачи на мызу, возьми под седлами и так сколько сможешь и – к Рижской дороге. Мы встречь пойдем перелеском. Одвуконь поскачем, нельзя на Печоры, так на Выру свернем. Понял? Ну, чего встал?

Когда топот стих, Курбский сказал:

– Ближе подойдите, тесней. Еще ближе...

Они стояли по пояс в тумане и смотрели ему в лицо, а он смотрел на них. Вот они – все разные и все одинаково связанные теперь с ним насмерть, потому что пути обратно нет. Кто из них пошел с ним ради него самого, а кто – ради страха за себя: слуг опального царя хватал без разбора и пытал, вымогая наветы... Кто есть кто? Лица их за рядниной тумана едва различимы в рассветной серости, но он знает каждое лицо наизусть. Вот верные, с юности служившие в походах: Иван Келемет, квадратный, бочкогрудый, большеголовый. Всегда молчалив, тверд, остроглаз. Редкие волосы прилипли ко лбу – он снял шлем, вытирает шею платком. Вот его брат двоюродный Михаил Келемет, послушный, верный тоже, но тугодум, слуга – и все. Оба из старого, но нищего дворянского рода. За ними стоит и ждет спокойно седоватый мосластый Иван Мошинский, который в отроках еще отцу, Михаилу Курбскому, служил, а потом сыну и под Казанью себя показал; палец ему отрубили на левой руке, мизинец, с тех пор прозвали его Беспалый. Этот пошел без раздумий, ради верности. А вот этот – Иосиф Тороканов – ради себя. Тоже долговязый, но узкоплечий, рыжеватый, с белыми ресницами и пасмурными глазами. Но и ему назад ходу нет. Как и этому – толстощекому Меркурию Невклюдову, ключнику, сладкоежке, хитрецу. Слева стоял за кустом ивы Андрей Барановский, хват и плясун, меткий стрелец из лука. Он со скукой оглядывался, переминался нетерпеливо – не любил рассчитывать и ждать. А Гаврила Кайсаров, один из опытейших сотников Курбского, сидел на пеньке, повернувшись к городу, прислушиваясь. Вот на этого можно положиться. Курбский вспомнил, что Гаврила недавно женился, и отогнал эту мысль. Еще раз он обежал всех их взглядом, уже не думая, а лишь чутьем сердечным проникая в замкнутые лица, в вопрошающие глаза, и сказал тихо:

– Ну, люди, все ли готовы за мной идти?

Ответили не сразу, смотрели, чего-то еще от него ждали.

– Все, – сказал, наконец, Иван Келемет.

– Куда деваться-то! – простодушно сказал Андрей Барановский и улыбнулся.

«Не предаст! – подумал Курбский. – Под Феллином показал себя!»

– Ну, и добро, – он кивнул им всем. – Поздно нам передумывать: схватят – никого не помилуют.

Они опустили глаза – всё понимали.

– Живыми не давайте, не советую... Ну, пошли!

Они медленно тронулись сквозь осинник на юг, к Рижской дороге, обходя топкие места и травяные непросохшие лужи. Впереди дозором шли Беспалый-Мошинский и Гаврила Кайсаров, за ними верхами – князь, Иван Келемет и Василий Шибанов, потом все остальные, след в след, молча.

Когда отошли с полверсты, Курбский спросил Келемета:

– Кого еще взяли?

– Под Старицей перехватили Ховриных, кажется, а вот Тимофей Тетерин – сотник, насильно постриженный, – из Печор утек и на царя грозитя открыто, монахи сильно теперь боятся... Князя Горбатого, думаю, тоже не помилуют.

Курбский мрачно жевал горькую веточку, ссутулясь в седле. «Александр Горбатый! Отважный и скромный, хоть и великий воитель. Не он ли тогда под Казанью Епанчу-хана разбил, пятнадцать верст гнал, все устелил в лесу трупами! И это его полк тогда отбил моих стрельцов от Едигера, и это он да Петр Щенятев сказали царю, что я пропал, искали меня на поле, на том лугу, где конем меня придавило, на том лугу, на том свете...»

Дохнуло травяной свежестью из невозможной дали, где из сонных туч пробился лучик нездешний, мягко утеплит веки... Курбский поднял голову: впереди, в молодом сосновом подросте стоял, пригнувшись настороженно, Гаврила Кайсаров. Он снял шапку, прислушиваясь, ветер трепал его тонкие русые волосы, которые были светлее обветренного дочерна лица. Кайсаров кивнул, и тут князь тоже услышал: впереди, шагах в сорока, тоненько пискнул рябчик: пи-ить-пи-и-и! Это был знак: свои! Сквозь просвет пробивались к ним, шурша ветками, верх-оконные; беглецы увидели улыбающуюся веснушчатую рожу Мишки Шибанова, красивого русоусого и синеглазого Кирилла Зубцовского и еще много знакомых лиц: Ваську Кушников, Невзорова Кириюху, Невзорова Якима, Постника Ростовского, брата его Ивана, который под Невелем князя на спине тащил, когда ранило в ногу, а вот и Захар, и Василий Лукьянов, которого кони любят, и Симон Марков, и Петр Сербулат из черкесов, черно-серебряный – рано поседел. Все они смотрели весело.

– Откуда вы все? – спросил князь.

Кирилл Зубцовский усмехнулся, кивнул на Келемета:

– Его спроси, князь.

– Вчера я в городе кой-кому намекнул на всякий случай, – сказал Келемет, отводя взгляд. – Ну, думаю, если твоя милость уйдет в Литву, надо же и всех своих предупредить...

«Он был уверен, что я уйду ночью из города!» – подумал Курбский с гневом, но и с благодарностью: Келемет спас этих людей, он один о них подумал. Теперь их стало двадцать, и все при оружии, у каждого заводной конь – они забрали полтабуна с пастбища вместе со сторожами – Кушниковым и Захаром Москвитянином.

Теперь все были верхами, и вот все дальше Дерпт, все глуше бездорожье, но свободы все не было. И ее не было и час, и другой, и третий, и весь день, когда они скакали то лесными зимниками, то полянами, огибая болота, увязали по бабки. И опять мелколесье, поле озимое, полые ручьи, и опять опушка, и они озираются на дальний хутор с колодезным журавлем, а свободы все нет, хотя кругом безлюдье, тишина.

К вечеру на перекрестке двух дорог Шибанов нагнулся с седла, показал на следы с шипами подков: «Немцы!» Все встали, оглядываясь на сосняк, редящий впереди.

– Недавно проехали, – сказал Келемет, – кругаля мы дали, на Вольмар отсюда не проехать... – Он повертел головой. – Постой! Чем-то вроде знакомо место. А это что?

В стороне под прошлогодней травой виднелись глубокие колеи от пушечных полозьев, полусгнившая платформа, сломанное колесо. Курбский почувствовал странное узнавание, как во сне, в котором бывал однажды. Они тронули осторожно. С опушки открылось поле, заросшее бурьяном, речка в ивняке, а за ней, на голом холме – замок с квадратной башней. В глухой стене чернели ворота, мост был поднят.

– Гельмет! – в один голос сказали князь и Шибанов.

Недавно еще Курбский осаждал эту крепость, вел тайные переговоры с графом Арцем, наместником герцога Юхана. Но заговор был раскрыт, осаду пришлось снять, Курбского послали под Феллин. Кто сейчас в крепости: немцы? ливонцы? поляки?

Мирно золотилось вечернее поле, поблескивала речонка меж ивняков, а взгляд растерянно, удивленно бежал по знакомым холмам, овражкам, опушкам, где стояли тогда, где, всплывая в памяти, горело что-то, рвалось, вон из того оврага из предрассветного тумана возникли огромные тени – вылазка немцев, всполох, бегство спросонья, скрежет железа, выкрики, топот... Еле отбили тогда батарею, вон у той ракиты билась, подыхая, кобыла Димитрия Курлятева, а сам он лежал грудой холстины: так и убили, как выскочил, – полуодетого. А сейчас тишина, дрозды свистят на закате.

– В объезд придется, – мрачно сказал Келемет.

– Нет! – Курбский пощупал сверток за пазухой. – Великий магистр Кетлер отдался под руку Сигизмунду: ничего теперь они нам не сделают, примут, накормят, а завтра с честью проводят на Вольмар!

И он тронул из леса к замку, а остальные с опаской – за ним. Он улыбался сдержанно, ноздри втягивали запах напоенного водой поля, навозной прели, цветущей вербы, теплого вечернего сосняка. Запах свободы. Наконец он позволил себе поверить. И сразу открылись все поры тела, с болью забилося что-то живое.

– Едем! – крикнул он радостно, и лица людей тоже оживились.

Они стояли, сгрудившись перед окованными воротами. Сверху из бойниц их рассматривали немцы, дымились фитили аркебуз. Иван Келемет крикнул, коверкая немецкие слова:

– Князь Курбский с охранной грамотой короля Сигизмунда-Августа! Отворите гостю короля!

И он сам, и все, даже князь, чувствовали себя сейчас голыми.

Со скрипом цепных блоков медленно опустился мост, поднялись, как львиный зев, зубья воротной решетки.

Спешившись, стояли они в каменном мешке крепостного двора, Курбский впереди с королевской грамотой в руке – пергаментным свитком с тяжелыми печатями. Он сдерживал гордую улыбку: никто не пострадает, кто пошел за ним, никто не ожидал, что у него есть охранная грамота. Сейчас их примут с честью, накормят, напоят, а завтра дадут проводника в Вольмар к королевскому наместнику. Всей спиной он ощущал удивление и радость своих людей.

Они стояли и ждали. Здесь, во дворе, было сыро и полутемно, но верх башни, отрезанный закатным светом, розовел изъеденной веками кладкой, слабый ветер шевелил орденский стяг, а еще выше по апрельскому небу плыли с запада редкие круглые облачка.

Слуга в суконном кафтане крикнул сверху с высокого крыльца:

– Кто здесь, который называет себя князем Курбским? Пусть пройдет сюда, в башню!

Курбский поднялся по ступеням и вошел в каменную сырость башни. Он не торопился и не сердился; он знал, как любят ливонцы соблюдать все свои церемонии: чем слабее люди, тем крепче держатся они за старинные обычаи. В особенности Ливонский орден – ведь время его силы давно миновало.

Курбского ввели в квадратную каменную залу и поставили перед голобородым стариком в вязаной шапочке и длинном плаще. На плаще был нашит крест, не русский, а ливонский, восьмиугольный; каждый конец его был остро взрезан, точно жалящий хвост, и вообще это был не крест, а его искажение. Курбский с трудом оторвал взгляд от этого креста и взглянул на старика. Тот молча протянул руку, и он так же молча вложил в нее грамоту. Тусклые водянистые глазки старика смотрели мимо, он не развернул грамоту, сказал, еле открывая запавший рот:

– Сдай все золото, которое с тобой, и оружие. – Он пожевал безгубым ртом. – Или я прикажу обыскать тебя.

Курбский вспыхнул, но взял себя в руки: да, и это тоже их немецкая повадка – нагрубить, запугать. Но они еще не знают, кто он!

– Прочти грамоту! – сказал он раздельно, сурово. – И ты узнаешь, кто я, и поймешь, что я и мои люди находимся под защитой королевского закона.

– Здесь один закон – ордена, – сказал старик бесстрастно. – И я здесь судья. А золото, которое у тебя, ты отнял у ордена.

Андрей понимал его – за десять лет войны на западной границе он научился немецкому и польскому, он понимал не только его речь – его намерения. Чтобы проверить себя, он взглянул на мрачных неподвижных дворян, которые стояли за спиной старика у потухшего камина. Они смотрели в лицо с терпеливым ожиданием, исподлбья, тупо и жестоко: он понял, что они схватят его, если он сделает хоть шаг. А может быть, и убьют. Но он не понимал нечто личное в этой готовности к убийству, личную ненависть именно к нему.

– Ты понимаешь, кто я? – спросил он. – Ты и твои слуги должны знать: я гость и друг короля Сигизмунда-Августа.

Впервые старик взглянул на него своими красными глазками, и голый рот его покрылся.

– Мы знаем, кто ты, – сказал он. – Ты – Курбский, которому доверился несчастный ленд-маршал Филипп, захваченный под Феллином. Ты обещал ему милость и свободу, но в Москве ему отрубили голову.

– Князь Иван отрубил, а не я, – ответил Курбский гневно. – От того Ивана-князя я и ушел за это и за другие злые дела. А о Филиппе мы ему с Данилой Адашевым писали и просили, Филиппа же я как брата почитал, и жил он у меня не как пленник, ел и пил со мной вместе.

Старик не ответил, он по-прежнему смотрел мимо.

– Иди за мной, – сказал кто-то сзади.

Андрей обернулся – высокий немец с секирой в руке показывал на боковую дверь. Он прошел за немцем по коридору и вниз, в полутемную камеру. За дверью задвинули засов, и он остался один.

Ярость и стыд коверкали его лицо, крупная дрожь била тело. А потом было одно отворачивание, холод бессмыслицы. Он жалел, что не убил там, в зале, старика-крестоносца, он жалел, что бежал, что увел с собой верных людей, что не умер тогда на лугу под стенами Казани, уплывая в снежно-солнечные облака. Он ходил взад и вперед, от стены к стене. Может быть, немцы уже убили его слуг? Когда они убьют его? Убьют, а потом напишут Сигизмунду, что он сам напал на их отряд. Он знает, как это делается... Ливонцы ненавидят Сигизмунда так же, как и русских, – они помнят свое мертвое могущество, они первыми пришли в этот край... Псы-рыцари... А он еще восхищался их пехотой, аркебузами, пушками и крепостями. И зачем он пришел в этот город Гельмет? Ему нет и не было здесь удачи.

Не он первый – мало ли сгинуло без вести русских на дальних рубежах? Он впервые почувствовал мерзкую тоску полной беспомощности. Когда же они придут? Сквозь оконце под потолком изредка прорывалась чужая речь, смех, цокот копыт по булыжнику. Он ходил и ходил, тяжело ступая на всю ступню; совсем стемнело, знобило, подташнивало. Надо было

готовиться, молиться, но он не мог; надо было думать, как сбежать, но он тоже не мог, он только ходил, повторяя: «Дурак! дурак!», – сжимая и разжимая кулаки.

– Господи, что я Тебе не так сделал? – спросил он, останавливаясь.

Но никто не ответил, только кровь шумела в ушах, как отдаленный шум моря. Он сел, положил руки на стол, а голову на руки и закрыл глаза. Кроме этого дубового стола и скамьи, в камере ничего не было, даже кружки с водой.

Тело опять проснулось раньше разума и вскочило, покрываясь испариной, рука искала оружие, шурились дико глаза: их слепил свет свечи. Но это были не убийцы; перед ним стоял толстый монах в сером балахоне и улыбался, приложив куцый палец к губам, другой серый монах держал высоко свечу. Андрей ничего не понимал. «Зачем они здесь? Перед смертью?..»

– Не бойся, князь, – сказал монах по-польски, – и веи себя тихо. Я, запомни мое имя, Никола Феллини, член недостойный Иисусова братства. Я был в посольстве по выкупу ленд-маршала Филиппа, но ты меня не помнишь, и я знаю, что вчера ты сказал правду и что ты действительно князь Курбский. Но я не знаю, лазутчик ты или перебежчик. Погоди! – он остановил Андрея толстым пальцем. – Если ты правдиво ответишь на мои вопросы, ты поедешь в Армус к комтуру Майнегеру. Он член капитула и госпитальмейстер ордена и может решить твое дело по закону и справедливости. А здесь... – Монах покачал круглой головой и грустно улыбнулся. – Слишком много стало чтецов и проповедников! Они не знают пощады. – Андрей понял, про кого говорит иезуит. – Так ты ответишь на мои вопросы? Ведь и я служу ордену. Магистр Готгард Кетлер знает меня хорошо.

– Меня ограбили и унизили! – сипло сказал Курбский, и его голубые глаза расширились, оледенели. – Пусть отдадут мне мое золото, оружие, лошадей. У меня грамота короля Сигизмунда!

Черные глазки монаха перестали улыбаться, приблизился, погрозил куцый палец.

– Грамоту можно подделать, – сказал он. – Благодарю Господа нашего, что ты еще жив. Ты будешь отвечать мне или... или позвать *их*?

– Спрашивай, – угрюмо ответил Курбский.

Толстяк сделал знак, и второй монах присел с краю стола, поставил чернильницу, попробовал на ногте перо, а Никола Феллини прошелся взад и вперед, поднял глаза к потолку и задумчиво произнес:

– Скажи, во-первых, где и в каких местах стоят русские гарнизоны? Во-вторых, сколько и какое у них оружие: пушки, пищали, кавалерия, лучники? В-третьих, что думают делать в Ливонии этим летом ваши войска? Если ты друг Сигизмунда, то он – друг магистра. Поэтому ты можешь говорить свободно. – И толстяк улыбнулся и дружески подмигнул Андрею черным пытливым глазом. Лучше бы он хлестнул его плетью! – Помни также, что мы сравним твои слова с донесениями наших разведчиков. Будь благоразумен, князь: если бы не я, может быть, ты уже был бы мертв.

Утро занималось за кровлями башен – ясное майское утро. Во дворе уже стояли верхами люди Курбского; когда он вышел к ним, никто не поздоровался, они смотрели в землю, грязные, осунувшиеся, онемевшие. Только Васька Шибанов, поддерживая стремя, спросил преданными глазами: «Как ты?» Опять, как вчера, заскрипели цепные блоки моста, черные рейтары окружили их, начальник конвоя резко пролаял команду, и они выехали вон из замка на простор утренних полей и потянулись по влажной грунтовой дороге, вдыхая всей грудью запах молодой травы и теплой земли, но не улыбаясь, не радуясь.

Охранная королевская грамота князю Курбскому Ярославскому

Сигизмунд-Август, Божией милостью король Польский, Русский, Прусский, Самогитский, Мазовецкий, Лифляндский и иных. Всем князьям, панам, воеводам, кастелянам, старо-

стам, урядникам, дворянам, войтам, ратманам, бургомистрам и всякого звания нашим подданным! Объявляем сим листом и приказываем, чтобы никто не смел делать князю Андрею Михайловичу Курбскому Ярославскому никаких обид и нападений ни лично, ни через своих слуг, потому что князь Курбский Ярославский, потерпев неисчислимые беды от великого князя Московского Ивана Васильевича, отдался под наше покровительство со своими людьми, оставив все имение свое родовое, и перешел в наше подданство... А если кто нарушит защиту и безопасность, данную князю Курбскому Ярославскому по нашей королевской милости и с ведома сейма, тот подвергнется нашей немилости и взысканиям, назначенным против нарушителей наших охранительных грамот по закону. К грамоте приложена печать наша, и скреплена она собственноручной нашей подписью.

Сигизмунд-Август, король; Войнович, подканцлер

Путь до крепости Армус занял много времени, потому что дороги раскисли, а мосты снесло половодьем. Андрей ни с кем не разговаривал по дороге: грубость конвоя, скудная похлебка, ненависть в глазах встречающих крестьян – все погружало в безнадежность, в немую топь. В походе на Полоцк он видел раз, как живую горячую лошадь засасывала такая топь. Лошадь билась до последнего. Но ему не хотелось больше биться. Он ждал привала, чтобы заснуть, провалиться в беспамятство.

Они подъезжали к Армусу в четвертом часу дня. Река слепила, и на белом сиянии башни крепости чернели угрюмо и четко. Это было древнее гнездо завоевателей. Скуднели глаза, разглядывая голую громаду контрфорсов, зубцы, кровли, камень, неприступный, ржавый от жестокой гордыни, глазницы бойниц, зрачки наведенных пушек. Над воротами на щите – ливонский крест и родовой герб магистра Готгарда Кетлера: котельный крюк. Серый известняк выщерблен ударами ядер, закопчен. Эта крепость была мощнее Гельмета, здесь, наверное, глубокие рвы и подземные казематы...

Все это отнимало надежду. Поэтому, когда они спешили во дворе, и слуги, кнехты, дворяне, конюхи, псары – огромная радостно-жадная толпа – окружили их, Андрей не удивился и не возмутился: так везде окружают гурт пригнанных пленных – скотину, которую можно продать или зарезать.

«А ведь нас нельзя даже продать, – подумал он и посмотрел на своих людей. – Ведь мы не можем дать за себя выкуп, потому что мы ничьи, мы без роду и племени, мы не смеем просить родных выкупить нас».

– Снимай! – сказал высокий рыжий немец Ивану Келемету, показывая на его ноги.

И Келемет, широкоплечий, бесстрашный Келемет, затравленно оглянувшись, сел на землю и стал стягивать сапог.

Толпа оживилась. С Василия Шибанова сняли кафтан, он стоял в одной грязной нательной рубашке, заправляя гайтан с крестом за пазуху. «Он прячет своего Бога в свое голодное брюхо!» – сказал кто-то по-немецки, и толпа расхохоталась. Но Курбский остался спокоен: всему этому надлежало быть. Да, если ты преступаешь заповедь, ты должен ожидать чего угодно, ты должен стиснуть зубы и терпеть. «Я буду терпеть до конца! – сказал он сам себе. – Я не ждал такого, но буду молчать до конца!» Он вскинул голову и стал смотреть поверх голов и лиц.

– А этот – чем он других лучше? – спросили сзади насмешливо, и длинная рука сорвала с него лисью шапку.

Он обернулся, сдержал себя, но грудь его задышала шумно. Длинный рыжий немец в зеленом камзоле смотрел на него, презрительно прищурясь.

– Это действительно князь Курбский? – спросил кто-то по-польски в задних рядах.

И тогда Андрей крикнул напряженно:

– Поляки! Литвины! Здесь есть шляхтичи? Пусть скажут королю и гетману Юрию Радзивиллу Витебскому, что меня здесь ограбили и убили! Пусть отомстят за меня!

Толпа стихла, прислушиваясь, переспрашивая, вникая, а потом зловеще зашумела, придвинулась. Ее пот и смрад дыхания ощущались всем телом, еще никто не вытащил клинка, но руки сжимали эфесы, а зрачки выискивали уязвимое место. Рыжий верзила, продолжая щуриться, сказал Курбскому:

– Сними-ка плащ – он из хорошего сукна!

«Если я ударю его, меня тут же убьют, но, может быть, это к лучшему? – быстро подумал Курбский. Он знал, что от его удара рыжий упадет, как бык. – А если я вырву вон у этого секиру, то...»

– Стойте! – крикнули сверху. – Стой именем ордена! Разойдись!

Кто-то в кирасе и каске крикнул команду, и сразу закованные кнехты железным клином врезались в толпу, пиная и слуг, и дворян, отделили Курбского и повели к двери, а его людей погнали через двор в другие двери.

Как и во сне, все менялось без смысла, и страшное было не в словах или нападениях, а в каких-то намеках, в темном углу, где кончалось человеческое и понятное. Красивый тонколицый рыцарь в лиловом бархате и сутулый горбоносый человек в подкольчужной замшевой куртке и ботфортах сидели за столом и смотрели на Курбского, а он стоял перед ними. Он не знал, кто они, он думал о том, что согласен стать пленным рабом у какого-нибудь барона, лишь бы его не выдали царю Ивану.

Рыцарь был ухожен, богат, даже душист, золотая цепь пряталась под кружевным воротом, белый палец постукивал по столу, вспыхивали искры в алмазном перстне. Он молчал, покусывал нижнюю губу. Второй, горбоносый, пристально смотрел из-под седой челки широко расставленными глазами. Он спросил:

– Почему ты во дворе назвал имя моего брата, Юрия Радзивилла? Я его родич, Николай Радзивилл.

Андрей посмотрел на литвина отчужденно: Николай Радзивилл Черный перешел со всем домом в протестантство и яростно проповедовал его при дворе короля. Говорят, что свой двор на Волыни он превратил в еретическое гнездо, в кальвинистский собор. А брат его, Юрий, который писал Курбскому из Витебска, всегда принадлежал к греческой церкви. «Знает ли он о брате, о его связи с нами?» – торопливо соображал Курбский, борясь с чувством обреченности: для кальвиниста он не только враг, но и слуга антихриста, как и кальвинист для него. Серые глаза смотрели ему в лицо с терпеливым холодом, нельзя было понять, что думает Радзивилл, но можно было твердо предположить, что, если этот человек что-либо решит, он исполнит это без сомнений и обязательно.

Никто не знал, что полтора года назад воевода князь Витебский Юрий Радзивилл по совету короля написал тайно Андрею Курбскому. Он предупреждал Курбского, что его ждет смерть от царя Ивана, как и многих до него ждала она, – Алексея Адашева (сбылось!), Шуйских и Бельских (сбылось!), – и приглашал его, оставаясь в своей вере, перейти на службу к Сигизмунду-Августу. Андрей ответил отказом. Потом было второе письмо от Юрия Радзивилла – умное, откровенное, и опять Курбский отказался, но, несмотря на это, пришло третье вместе с охранной грамотой короля Сигизмунда. Грамоту отнял комтур Гельмета, но письма от Юрия Радзивилла остались: Курбский сохранил их под платьем. Брат Юрия, Николай Радзивилл, ждал сейчас ответа. Курбский расстегнул ворот рубашки, вытащил сверток с письмами, размотал шелк и подал их. Радзивилл Черный прочитал письма дважды и передал их рыцарю в лиловом. Рыцарь читал про себя, шевеля губами. Лицо его становилось все надменней, приподнялась бровь. Он кончил, бросил письма на стол и сказал, постукивая белым пальцем по пергаменту:

– Если это так, то я передаю его тебе, пан Радзивилл.

– Спасибо, барон. Завтра я еду в Вольмар и заберу его с собой.

– Но сегодня мы допросим его, потому что его пленил орден, и он не все рассказал в Гельмете, что знает.

Андрей понял, что это комтур Армуса барон Майнегер.

– Меня никто не пленил, – сказал он рыцарю, – мы сами приехали в Гельмет искать помощи и проводника до Вольмара, а нас схватили.

Рыцарь пожал плечами, палец его все постукивал, в камне перстня вспыхивала тусклая искра.

– У меня отняли все ценности, оружие, лошадей, даже одежду, – говорил Курбский, глядя на Радзивилла. – Триста золотых, пятьсот талеров, тридцать дукатов да еще московские рубли... Я буду писать жалобу королю и магистру ордена!

Он обернулся к рыцарю. Тот смотрел неприязненно, но спокойно, чуть заметно усмехаясь под русыми усиками.

– Отдай мне его под мое поручительство, – сказал Николай Радзивилл. – Я и мои дворяне поручимся за него. – Он помолчал и добавил: – Скоро мы встретимся с тобой в Вильно, барон.

Голос его был сух, взгляд глубок и холоден, седые волосы подрезаны низкой челкой спереди, а с боков лежали по плечам на потертой кожаной куртке. Протестант. Кальвинист. «Но именно он меня спасает», – подумал Курбский.

– Хорошо, – сказал барон Майнегер и встал.

Он не смотрел на Курбского, который поклонился, уходя. В коридоре Радзивилл сказал Андрею:

– Пойдем туда, где мои люди. Я велю накормить тебя и твоих. Никуда не выходите. Завтра уедем.

– Спасибо тебе, пан, – сказал Андрей, но Радзивилл ничего не ответил, точно не слышал.

Они ехали вслед за обозом с пушками по обочине разбитой дороги, по короткой сочной мураве; в мелких лужах ломалось солнце, они ехали сквозь духовитое парное цветение вербы, одуванчиков расслабленно и медленно, полузакрыв глаза. Но внутри все не пропадала изжога, точно запрятавшаяся в подполье болезнь. «Кто этот Радзивилл Черный, еретик, аскет молчаливый, который едет впереди с отрядом дворян-протестантов? Он взял меня на поруки. Зачем? Из-за родства с Юрием Радзивиллом? Или он знает обо мне от самого короля? Если я не буду служить им честно, меня выдадут Ивану... Литве служит много наших – Острожские, Одоевские, Бельские, Заболоцкие; – одни давно, другие – как и я... Служат Сигизмунду, потому что Иван кусает руку, которая его кормит, – древние роды князей. Литва – та же Русь, ведь это удел Мономаховичей, когда-нибудь она сольется с Русью под началом великого князя из Рюриковичей. Не Ивана Кровавого, конечно... Тогда Русь станет непобедимой, а пока надо терпеть да ждать, ехать медленно за тяжелыми полозьями волокуш, на которых по жидкой грязи упряжки волов тащат пушечные стволы и лафеты. Кругом зеленеет весенняя Ливония – владения ордена Меченосцев, некогда грозного владыки, а сейчас... Не так ли пройдет вся слава мира сего, и наша, и моя, которая, может быть, уже прошла, хотя я не предал своей веры...»

Он вспомнил лилового рыцаря – комтура Армуса, его надменную усмешку и холёные руки, постукивание белого пальца по полированному столу. Все это было лишь притворством, маской, скрывающей бессилие ордена. «Если дом разделится сам в себе, он не устоит. Так и у нас с воцарением Ивана Кровавого. Так и в Ливонии – об этом говорил пленный лендмаршал Филипп, захваченный под Феллином. Он был истый рыцарь – хрупкий, но неустрашимый, таких почти не осталось, с ним было интересно говорить, его уважали все, и Шереметев, и я. Когда его спросили, почему ослабел орден, он сказал: „Когда мы имели одного истинного Бога Иисуса Христа и одну истинную Римскую Церковь, тогда мы были непобедимы. Но пришла ересь и расколола нас, горожане восстали на епископов, а кнехты – на рыцарей, и орден пал за

наши грехи!“ Он поднял руки и глаза к небу и заплакал, как ребенок. Мы просили Ивана его пощадить, но он казнил Филиппа за правду и отвагу. Это был рыцарь до конца...»

Их обогнал забрызганный до бровей всадник – четвертый за день гонец. Радзивилл Черный – кто он? Пан Николай Радзивилл Черный – великий гетман и маршал литовский, князь Олицкий и Несвижский, воевода Виленский – вот кто он. «Если бы Радзивилл не приехал в Армус за пушками, ливонцы убили бы меня или продали Ивану – он много отдал бы за меня и золота, и пленных!» Впереди маячила высокая фигура Радзивилла. «Он подарил мне новое суконное платье и саблю и дал сто талеров. Он накормил моих людей и вернул кое-что, отнятое у них немцами. Сапоги Келемета, например... Почему? Он должен ненавидеть меня как идо-лопоклонника – так, кажется, лютеране нас обзывают, – а он зовет меня обедать в свой шатер. Тяжело креститься при нем перед едой... Да, я обедаю с ним, но я пленник все равно...»

Они ехали дорогой вдоль реки Гауи, сквозь зеленое дыхание весенних лесов, которые то отступали, то оттесняли отряд к береговому обрыву, и тогда ноздри ловили ветерок с воды, запахи тины, нагретых песков на отмели; в заливе белели кувшинки. Вечерело, в тихой воде догорали высокие облака. «Вот этот мыс знаком, и эта колода у колеи», – думал Курбский. Он знал эту дорогу – здесь прошла, догоняя ливонцев, конница Петра Шереметева, по обочинам валялись порубленные тела, в одном месте – кучей, и люди Курбского, качая головами, одоб-рительно усмехались: «Знатно поработал здесь Петр!» Это было четыре года назад, когда они с Петром взяли Вольмар. Отсюда до города – верст пять.

– Я поеду вперед, – сказал над ухом голос Радзивилла, и Курбский вздрогнул. – Тебе укажут, где встать под городом.

Он хлестнул лошадь и ускакал с толпой слуг, а Курбский остался с обозом под охраной угрюмых рейтаров. Он все смотрел вперед, ждал и первым увидел, как над деревьями вырастает корона главной башни замка и как весь он, буро-алый в свете заката, появляется на повороте, отраженный обводящей его рекой. Вольмар. В темнеющей низине вокруг города мерцали сотни костров огромного лагеря, через теплую мглу еле слышно звенел мирный колокол костела. Курбский узнал и дамбу, и запруженную речку, и островерхие ворота между круглыми башнями. Ему казалось, что даже герб Вольмара он различает сквозь мглу: дерево с сердцевидными листьями, с нижних ветвей свисают два щита крестоносных, как некие железные плоды. Он шурился, вытягивал шею: да, вон заделанная кладкой брешь восточного бастиона, который они так здорово подорвали тогда с Шуваловым; он снова увидел ту ночь, ярко и яростно гудящий пожар узкой улицы, сквозь который они скакали, простоволосую полуголую женщину, которую тащили в проулок два казака. Она протянула к нему руки, ее рот раздирался беззвучным воплем. «Что, если она осталась жива и теперь узнает меня в лицо?» Он провел ладонью по лицу сверху вниз, надавливая на закрытые глаза, кашлянул хрипло. Но женщина все протягивала руки, и пожар все гудел, и скакали их кони, бешено, но будто на одном месте.

Он слушал отдаленный гул лагеря: голоса, лай, ржанье, скрип телег, окрики часовых; вдыхал такой знакомый с детства запах дыма и подгоревшей каши, и ему казалось, что это где-нибудь под Казанью, что он никуда не бежал, что он как бы бестелесен и висит меж небом и землей, ничейный, невидимый, понимая в этом скопище людей каждого – от вельможи до последнего конюха. Не понимает только самого себя и не желает понимать, знать и видеть, хочет себя забыть.

– Велели направо встать, вон, за оврагом, – сказал под ухом голос Васьки-стремянного, но Курбский не сразу ответил – еще немного он задержался в той ничейной пустоте, где можно было все видеть и не принимать никаких решений, быть как бы клочком тумана...

Он ехал за Шибановым краем оврага, который был укреплен турами, фашинами и превращен в хороший редут. Их окликнули из полутьмы, и шляхтич Радзивилла сказал пароль, Курбский в отсвете костров узнал остатки обрушенного дома, вытоптаный сад с ободранными яблонями и провалившуюся крышу дернового погреба – все, что он ежедневно видел

три недели подряд, когда стоял тут со стрельцами Федора Тетерина и пушкарями Морозова. Сначала был взят Полоцк, а потом Вольмар. Он тогда был воеводой Сторожевого полка, первого в войске по значению, и в Ливонию его прислал сам царь. В Москве вызвал в свою опочивальню, в место уединенное, для всех запретное, сказал искренне, человечно: «Приходится мне или самому идти, или тебя, *любимого моего*, туда посылать, чтобы вселить мужество в войско наше». Смугло светились лики апостолов в окладах чеканных, близко, не мигая смотрели глаза царя, испытывали и – верили. Пять лет назад – или вчера? – все исполнить и быть беглецом? За что?

Андрей Курбский смотрел, как спешиваются его люди, как таскают тюки, ломают какие-то доски, перекликаются бодро, пристраивают над костром котел с кашей. Около обрушенного дома растягивали шатер, Мишка рубил для подстилки хвою на колоде. Он вспомнил, как сотник Федор Тетерин говорил ему на этом самом месте: «Возьмем если Вольмар, то великий князь Иван Васильевич наградит нас богато. Ты как думаешь, князь?» А Иван Васильевич насильно постриг Тетерина в монахи в Псково-Печерском монастыре по навету Алексея Басманова. Но говорят, что Тетерин тоже бежал к Сигизмунду. Правильно сделал!

Два польских шляхтича придержали коней, услышав русскую речь, и стали разглядывать табор Курбского. «Это русские, не сомневайся, – сказал один. – С Волыни либо с Киевщины». Он сплюнул и тронул лошадь. «Чего им тут надо? – спросил другой. – Не перевариваю я этих собак. Они...» Стук копыт заглушил его слова, но смеха дружного не заглушил. Курбский заметил, что второй шляхтич плохо держится в седле. У Курбского горело лицо, он прикусил губу. Но что он мог сделать?

Он поел каши, снял сапоги и кафтан и лег на кошму в шатре. «Радзивилл уехал в город, – думал он, – завтра и нас туда позовут, говорят, там подканцлер Войнович, который мне писал. Может быть, и Юрий Радзивилл там? Они обещали золотые горы, но не из-за этого я... Здесь собрали большое войско. Куда они хотят идти? Ни денег, ни приличной одежды нет, саблю отцовскую отняли, сволочи! Вернуть саблю во что бы тони стало, шапку и ту сдернули, воры! Завтра напишу все королю...» Он стал засыпать, но его словно толкнуло в бок, и он почувствовал, будто падает куда-то, и как бы проснулся, но продолжал падать в темноту, назад, над лесом наискось и все быстрее. Ему казалось, что он несется над лесной ночной дорогой туда, где что-то забыл, где ждет его беда, но не мог остановиться.

В этот самый час из Дерпта-Юрьева вырвались два верхоконных и потемну погнали по немощеной дороге на Печоры. Они везли грамоты воеводы Федора Бутурлина и дьяков Шемета Шелепина и Василия Дядина о бегстве наместника Ливонии князя Андрея Курбского и о всех мерах, принятых для его поимки. Второй гонец вез также тайную грамотку Шемета Шелепина, в которой тот писал, что Курбский убежал от небрежения воеводы Бутурлина через непочиненный пролом в стене и что если б его, Шелепина, послушались, то Курбский был бы в оковах еще за два дня до побега, и что теперь надо опасаться, не сдаст ли Бутурлин Дерпт ливонцам и не наведет ли Курбский Литву и Ливонию на Полоцк. Письмо это грелось за пазухой у служилого казака Митьки Тарасова, который не знал, что везет в Москву злые семена доносов, казней и самой опричнины.

Первый раз Андрей почувствовал душу, когда очнулся на лугу под стенами Казани и увидел многоярусные снежно-солнечные облака, а в них – просвет-прорубь, куда устремлялся он с радостью и слезами. Вернее, не облака это были, а нечто прекрасное и совсем будто незнакомое, хотя где-то в самом раннем детстве испытанное.

Второй раз Андрей почувствовал душу во сне в Дерпте, когда она устремилась, как малая птица живая, из полутьмы огромного мешка к тому самому просвету малому, который открылся в облаках над лугом. На этот раз мгновение Истины – живой души – длилось короче.

В третий раз он почувствовал душу сейчас, в шатре, в чужом воинском лагере под Вольмаром, и не обрадовался, а испугался, потому что душе было тесно от изжоги-жжения, она вырывалась и билась в чьей-то огромной руке, а потом замерла и только молила глазами. Андрей совсем проснулся. Сердце под рукой билось, как после бега, он ничего не понимал, кроме боли за свою душу, которой он чем-то повредил. Но боль эта быстро проходила, и ощущение души тоже. Что ж это было? Лагерь спал, на пологие шатра колебались отсветы костра, постепенно они укорачивались и тускнели. Душа как бы отмирала незаметно, и он не знал, чем ей помочь.

3

Огромный лагерь втягивал их в свое бивуачное, но устоявшееся житие, и они постепенно обживали тоже свой табор, уминались, утеплялись, прилаживались, таскали дрова, сено, щепки, остатки плетней и заборов, рыли землянки и строили навесы; постоянно горел костер под большим прокопченным котлом, фыркали, переступая, кони у коновязи, голуби подбирали просыпанный овес. Такая жизнь была проста и понятна: не надо было пока ни о чем думать, день шел за днем в сменах караулов, поездках за кормом или просто так – лежи и смотри в небо.

Лагерь рос с каждым днем: все время прибывали новые вооруженные отряды. Все они располагались вокруг города за рекой, каждый за своим тыном – и польские полки, и литовская конница, и даже татарская конница Девлет-Гирея, и кнехты, и ливонские пушкари, и днепровские казаки. За турами и свежекопаными редутами смотрели на подъездные дороги жерла полевых пушек: лагерь был укреплен. И город тоже, туда никого не пускали.

Несколько дней Андрея никто не беспокоил, и он ничего не хотел, он отдыхал. В сером рассвете каждое утро доносило из казачьего табора переключку петухов – казаки возили их за собой в обозе, – а когда нежный восход поджигал летние облачка, из города приплывал далекий чистый звон с костела, колебался, стихал над спящим лугом, и немного погодя вставали, шевелились слуги, кто-то колот дрова, тянуло под полог березовым дымком – варили завтрак. Русской церкви в лагере не было, поэтому утром молились кто как мог, и Андрею это не нравилось – это было непривычно и обидно, но быстро забывалось, потому что начиналась суэта повседневная, а отряд его рос: приходили новые беглые с западной границы, в том числе и несколько его старых слуг из Дерпта, были русские и с Волыни, с Киевщины, из Гомеля – все они давно жили под Литвой, но про Курбского слышали не раз.

К вечеру многоязыкий лагерь начинал гудеть по-иному, и чем темнее становилось, тем хмельнее он гудел: нигде не пили столько водки и меда, как здесь, и Андрея это удивляло и сердило, особенно когда попозднее в гул вплетались скрипки, гогот, топот, бубны, смех, а иногда вспышки ругани и даже стрельбы. Стихало за полночь, разве только какие-нибудь шляхтичи для освежения пускали коней вскачь по росе в луга мимо стана. «Когда-нибудь дорого это веселье отольется! – думал Курбский. – Наедет Шереметев или Басманов, загонит вас всех в реку, искрошит задаром...» Это вроде бы даже радовало его, он себя одергивал, хотел сказать Радзивиллу, но тот как уехал в город, так и не появлялся, а посылать к нему мешала гордость. Правда, он обещал срочно отправить письмо-жалобу Курбского королю.

На четвертый день в город проехали какие-то важные сановники под охраной польских панцирных гусар, а на пятый, в четверг, жарким летним утром читали во всех полках грамоту короля Сигизмунда-Августа о близком походе для освобождения исконных ливонских и литовских земель, о воле Божией на это, а также о наградах, которые ждут всех, кто покажет себя в деле. Вечером приехал гонец звать Курбского в Вольмар к подканцлеру Войновичу и гетману Радзивиллу. Курбский оделся во все лучшее, что было, и, горько сожалея о том, что у него отняли гельмутские немцы, поехал за гонцом через вечереющий лагерь, взяв с собою дворянина Келемета, стремянного Шибанова и еще пять слуг-воинов, у кого были кольчуги и добрые мечи. Это было все, что он мог с собой взять, хотя даже мелкий шляхтич приезжал с целой свитой разодетых свойственников и челяди. Гонец сказал, что после приема будет пир, но Курбский решил на пир в таком будничном платье не оставаться.

Подканцлер Войнович приехал прямо от короля из Варшавы после сейма, на котором решался вопрос о нападении на Полоцк. Это первое, что он сказал Андрею, приглядываясь своими спокойными ироничными глазками и поглаживая подбородок. Войнович был коренаст, волосат, бугристое лицо некрасиво, ускользающий взгляд полуприкрыт. Он держал в руке письмо Курбскому от короля, но не отдавал, а говорил медленно, и слова его были как бы дво-

яки – хвалебное и равнодушное смешивались в них, и от этого подымалась досада. Король и сенат сдержат обещание: после похода князь Курбский будет введен во владение городом Ковелем и всеми имениями – местечками, деревнями, землями, мельницами и пашнями. Король назначил следствие по делу Курбского в Гельмете и, пока суд не решит («А без суда в нашей стране *ничего* не решается, потому что шляхта наша свободна»), посылает Курбскому сто золотых дукатов, коня и рыцарские доспехи и назначает его командиром регимента для разведки боем по направлению на Полоцк. Князь Курбский должен показать себя во всем, потому что, хотя король ему верит, но шляхта его не знает, а кто знает по войне, тот пока ему не друг... «Но теперь и не враг», – закончил Войнович и передал свиток Курбскому. Курбский поклонился и взял свиток двумя руками. Он выразил свою благодарность и желание честно служить, но просил отпустить его с пира, потому что он не имеет достойной такого общества одежды. Войнович усмехнулся и сказал:

– Мы в воинском лагере, а не во дворце, и здесь более прилична та одежда, что на тебе, а не павлиньи перья. – Они были одни в небольшом зале городской ратуши, а за дверями шумели гости, и Андрей понял, что Войнович имеет в виду польскую шляхту. Войнович был литвином. – Пойдем, – сказал он Курбскому, – теперь ты слуга короля, и все должны знать это.

В ярко освещенной зале стояли накрытые столы, глаза ломило от блеска серебряной посуды, золотого шитья, драгоценных камней и хрусталя, и кружило голову от запахов мяса, солений, варений, вин, настоек, меда и пива, от смеха и гомона, от криков «Виват!» после каждого тоста. На Курбского только некоторые поглядывали испытующе: в лицо его, кроме Войновича и Николая Радзивилла, здесь почти никто не знал.

Но вот подканцлер Войнович встал и поднял кубок за князя Курбского, «нашего нового соратника и воеводу», и десятки глаз с жадным любопытством прилипли к лицу Андрея.

– Верьте ему, как король верит, и любите его за его дела, – сказал Войнович, рот его плотно замкнулся, а зрачки ускользнули вниз.

– Как я его люблю, – произнес чей-то холодный, низкий голос, – потому что он мне стал другом.

Это сказал великий гетман Радзивилл Черный, и все изумились: он ни про кого так никогда не говорил, и в словах его было предупреждение. Курбский поклонился, он не знал, что ответить, глаза со всех столов отражали свет свечей и были или любопытны, или недоверчивы, а иные полны скрытой зависти и ненависти. Его имя слышали все. И у многих оно вызывало чувство позора, страха или мести.

– Панове! – наконец, сказал Андрей. – Я не умею служить нечестно, потому и ушел от князя Московского – ему честно служить нельзя. Христианин не может служить ему честно – он требует крови невинных. Верьте мне, что я исполню свой долг и волю Божию...

Он не знал, что сказать еще, и смешался – гнет недоверия нарастал, мешал думать свободно. Все ждали, но он молчал, хмурясь и краснея.

– Выпьем за князя! – сказал кто-то сбоку, и Андрей увидел дружелюбные глаза, золотистую бородку и ровные зубы в открытой улыбке.

Это был Константин Острожский. Курбский выпил и кивнул благодарно. Почему-то он никак не мог взглянуть на гетмана Радзивилла, который только что при всех назвал его другом. Надо было встать и поблагодарить гетмана, тоже назвать его другом и даже спасителем, но он не мог заставить себя это сделать.

Он ночевал в своем стане последний раз – завтра надо было переезжать в Вольмар, в дом, куда пригласил его Радзивилл Черный, а сегодня еще он спал на кошме, вдыхая запах сена, конского навоза, сухой земли и остывающих углей кострища. У входа на соломе спал Василий Шибанов. Он всегда так спал – у порога, много лет, и в жару, и в стужу, незаметный, но не заменимый никем.

Курбский не мог заснуть – после бессонницы в последнюю ночь в Дерпте он потерял сон. А раньше засыпал, чуть коснувшись изголовья. Он не мог заснуть от мелькания мыслей, которые постепенно наполняли голову, как тупое жжение тяжелого вина; мысли были то тоскливы, то жестоки, яростны, и тогда он ворочался с боку на бок. Надо было брать Полоцк, в котором сидит Петр Щенятев, а с Петром же они брали Полоцк год назад. Привели пятьдесят тысяч своих русаков и взяли штурмом пятнадцатого февраля. Был снежок по оттепели, на белом чисто алели пятна свежей крови, черно, вонюче курились головешки, звонили в церквах. Петр был свой, верный, воин бесстрашный, веселый на пиру и в битве, честный... А сейчас надо его брать, не шадить никого – на то и война...

Мысли лезли странные, яркие – не мысли, а лица, стены крепостные, следы подков на грязной улице и тело чье-то раздетое, опухшее, без головы. Нет, не уснуть... Как он некогда спал! Как ребенок. На то и воинская жизнь, чтоб крепко спать, – дело сделал и спи. Как дети спят... Дети... Как он тогда с Алешкой спал на сеновале, когда в объезд ездил с ним по своей волости. «Чего ты хочешь от меня, душа моя?!» – он спросил это шепотом, но увидел сына еще яснее: он скакал за ним к реке, к броду, вечером по розовато-бурому лугу, и конь Алешкин был алым. Алешка, сын девятилетний, в белой рубашонке, оборачиваясь, улыбался: «Попробуй догони!» – и белели зубы на загорелом лице, ветром относил выгоревшие волосы. По мелкой воде сын погнал вскачь через отмель-брод, вода брызнула золотым взрывом, раскололся тихий плес, а сын все смеялся – не догонишь! А на сеновале спал прижавшись, дышал еле заметно, золотился пушок на шее, безмятежно отдыхало детское лицо, тоненькая рука обнимала плечо. Что видят дети во сне?

Андрей опять открыл глаза. Боль и любовь возникли одновременно, и он не мог отвернуться, приглушить боль, потому что тогда пропадала и любовь; спящее лицо сына Алешки стало пропадать, он стиснул зубы, но оно пропало, только детский запах остался на подушке. «Чего ты хочешь, душа моя, от меня?» – спросил он еще раз. Душа хотела видеть сына: пусть будет боль, но и сын. «Боль – это жизнь, только если болит, значит, я жив», – подумал Андрей внезапно. Он знал, что днем опять омертвеет, одеревенеет, потому что на войне нельзя спокойно действовать, если не одеревенеешь, и сейчас он хотел опять вернуться к боли, но уже не мог.

Лица заполняли день, а дни заполняли время, летние суетливые дни сбора людей, коней, обозов, припасов и прочего военного снаряжения. Лица возникали внезапно, и некоторые из них выбивали из привычной суеты. Так возник Тимофей Тетерин, сотник, голова стрелецкий, бежавший из Псково-Печерского монастыря. Он стоял высокий, пыльный, жилистый, прокопченный, смотрел светлыми глазами пыливо, смело и говорил:

– К тебе хочу, князь Андрей, ты меня знаешь, а я – тебя.

Так оно и было, и Курбский был рад. Потом к вечеру они сидели с Тимофеем и давно уже уехавшим в Литву стариком Семеном Бельским и пили, и Андрею было неловко от той спокойной жестокости, с которой Тимофей и Семен вспоминали неудачи в походе на Ревель, где у пленных стрельцов шведы выжгли глаза, и еще более стало противно, когда Бельский, презрительно поплеывая, начал высмеивать невежество русских дворян, их неразборчивость в еде и деревенскую простоту, а главное – их мужицкие суеверия. «Кто ж ты сам? – думал Андрей. – Какой ты веры? Уж не отступником ли тут стал? Тимофей-то свой, православный, но и Тимофей не будет пленным брать...» От мыслей этих поднималась изжога душевная, пустота...

Старик Бельский мельком, но цепко глянул на помрачневшего Курбского.

– Хороша у тебя брага, князь, – сказал он.

– Это не моя – Радзивилла Черного. Моего тут ничего нет...

– Наживешь, не сомневайся, – сказал Бельский.

У него была маленькая тускло-серебряная голова, морщинистое остроносое лицо, сухое, обветренное, а глаз, как у птицы, – зоркий, неморгающий.

– Наживем, была б голова на плечах, – подхватил Тетерин. – Это не то, что у князя Московского, – у него одни дырки безродные да шептуны в соболях ходят, а мы, войсковые вечники, хрен от него получали за наши раны.

– Кто сейчас в Юрьеве сидит? – спросил Курбский.

– Морозов Михаил, Яковлев сын. Вместо Бутурлина прислали, но и он долго не усидит, мы ему так с Сарыгозиным и отписали.

– Отписали? – удивился Бельский. – Зачем?

– А он обо мне и Сарыгозине пану Полубенскому писал с бранью, изменниками нас окрестил, собака! – Голос Тетерина повысился, лицо побурело. – Не постыдился так обозвать православных! – Он пристукнул кулаком по столу. – Но мы ему отписали, как отрезали. Да вот, хотите, я прочту – список при мне...

– Прочти! – сказал Бельский.

Тетерин вытащил лист, разгладил, откашлялся:

«Господину Михаилу Яковлевичу Морозову Тимоха Тетерин да Марко Сарыгозин челом бьют! Писал ты, господин, в Вольмар князю Александру Полубенскому и оболгал нас, а мы хоть и тоже умеем собакой отбrehиваться, но не хотим твое безумство повторить. Знай, что если б были мы изменниками, то мы бы давно от малых неудобств и тягот сбежали с государевой службы, но мы терпели ради Христовой заповеди и отъехали только от многих нестерпимых мук и от поругания монашеского чина – ангельского образа... И ты, господин, бойся Бога больше гонителя и деспота и не зови лживо православных христиан изменниками!»

Тетерин сложил письмо и оглядел лица товарищей.

– Там мы еще приписали ему, что и его истребят с женой и ребятишками – пусть подумает!

– Да, – сказал Семен Бельский и кивнул. – Пусть подумает, да и не он один!

Курбский промолчал.

На другой день к вечеру пришел человек в немецком платье, сонный, носатый, и сказал:

– Ты, вижу, не помнишь меня, князь. Я слуга графа Арца, Олаф Расмусен.

Тогда Курбский вспомнил, как ночью под Гельметом караульные привели к нему в шатер этого человека. Он был не сонный, просто лицо его стало бесчувственным, стертым, как у тех людей, которые всю жизнь живут опасной профессией лазутчиков и потому как бы омертвели до незаметности. Олаф был шведским перебежчиком.

– Где граф Арц? – спросил Андрей.

– Его колесовали в Стокгольме, – бесцветно ответил слуга графа. – Прошу тебя, возьми меня на службу, потому что теперь мне не доверяют ни шведы, ни немцы, ни поляки.

«Так вот почему, – подумал Андрей, – вместо открытых ворот Гельмет угостил нас картечью!»

– Кто предал нас? – спросил он.

– Не знаю, – ответил слуга. – Если б я знал, то убил бы этого человека. Даже если б он был герцогом.

И Андрей, глядя в его мутные, вялые глаза, поверил в это.

– А где наместник Гельмета герцог Юхан?

– Его казнил наш король, хотя он не знал, что граф Арц хотел сдать тебе город.

Курбский подумал и взял слугу графа к себе в дом: люди, у которых никого нет, бывают верными.

Унижение беглеца, нищего, одинокого, подозреваемого всеми... Изменивший одному сюзерену изменит и другому, и третьему. Не верь перебежчику. Не верь иноверцу. Заменить

родину нельзя, как нельзя отречься от матери. Можно, конечно, и от матери отречься, но такому человеку не место ни на земле, ни даже в преисподней... «Наверное, так думают про меня литвины и поляки», – повторял себе Курбский, и от этого росла с каждым днем мечта изгнать Ивана, царя Московского, и посадить на его место достойнейшего из Рюриковичей, может быть, даже его сына. Но – изгнать! Эта мечта родилась ночью и не давала спать по ночам, не с кем было поделиться этим замыслом. Сам с собой, воспаляясь постепенно во тьме, ворочаясь, шепча под нос, он высчитывал количество пехотинцев, пушек, даже сколько надо будет пудов муки, сала, гороха, овса... Он вычерчивал в мозгу пути через леса, намечал переправы, броды, объезды болот, составлял письма боярам, князьям, сжимал челюсти и кулаки. И все это от унижения, в которое вверг его Иван, вынудив к побегу...

– Надо выступать не на Полоцк, а на Москву, – говорил Курбский Радзивиллу Черному. – Если мы соберем пятьдесят тысяч войска и сто пушек, мы пройдем до Москвы. Я один знаю, как провести такую армию. Закуйте меня, привяжите к телеге и, если я солгал, убейте. Иван боится, он побежит, его не будет никто защищать, кровопийцу и кошунника!

Лицо Курбского наливалось гневом, глаза голубели отчаянием. Радзивилл смотрел на него и качал головой, ничего не отвечая.

Петр Смолынинов – последний из близких друзей – появился вечером, как из небытия, в польском кафтане с расшитой перевязью, волосы его были расчесаны, на груди – золотая цепь. Сначала Курбский его не узнал, потом узнал и изумился, а взглядевшись в радостное лицо Петра, в его глаза, не скрывающие любви, встал с кресла и прижал к груди. Отодвинул, еще раз взгляделся и опять прижал, как брата.

– Откуда ты?!

Еще из Дерпта в марте он послал Петра, молодого, но начитанного, преданного духовным писаниям, в Полоцк к владыке Киприану, епископу Полоцкому, хранителю лучшей библиотеки в Западной Руси. Он писал Киприану и просил сделать для него список с рукописи Филофея о «Москве – третьем Риме» и с писем кирилловских старцев против иосифлян. Петр уехал и как сквозь землю провалился. А потом был побег, мытарства, и все стало истаявать, стираться в памяти. Но вот вдруг это явление, эта искренность молодая, правдивая.

– Откуда ты?!

– В Полоцке узнал я вести из Москвы о царских опалах на родню мою в Ярославле и решил бежать, – говорил Петр, улыбаясь счастливо. – И король дал мне имение в Кременецком повете – Дунаев и Вороновцы, и там я побывал, а теперь вот сюда, в войско, со своим отрядом... А здесь узнал я, что и ты, князь, тоже... – Петр смутился чего-то: он всегда был чуток, как женщина.

– Да, – сказал Курбский, – и я. Но имения еще не получил и беден – вон ты как вырядился, а мне...

– Я пришел, князь, – сказал Петр, волнуясь, – просить тебя взять меня и моих людей под свою руку, хочу с тобой!..

Курбский покраснел от радости, тряхнул Петра за плечи.

– А не пожалеешь?

– Возьми меня, князь, я так хочу...

– А если гетман не разрешит?

– Разрешит. Я уже был у него.

– Был?

Курбский только головой покачал: не диво, если к нему просились нищие беглецы, но Петр, уже награжденный королем, шляхтич, имеющий воинов под своим командованием...

– Я рад, – сказал он Петру. – Я один здесь среди их знати, хотя со мной и Келемет, и Кирилл, и другие верные, но я рад, Петр. Садись же, сейчас подадут вина, есть хочешь? Садись и рассказывай!

Так Петр Смолянинов, которого в Литве звали Петр Вороновецкий, перешел служить к Курбскому до конца своих дней.

4

Вечером девятого мая в небольшой спальня палате, освещенной лампадами киота, на незастеленном ложе лежал, закинув руки за голову, крупный, полнотелый человек с закрытыми глазами. У него было серое, измученное лицо, глубокие залысины и редкая рыжеватая борода; толстоватые губы полураскрыты, чернеют ноздри большого носа, равномерно подымается грудь. Но он не спит, хотя все тело расслаблено, недвижно. У него побаливает печень, горчит во рту, и ему жарко от натопленной печи. Он лежит в полудреме, в том состоянии почти полного безволия и безмыслия, которое так редко наступало за последние четыре года после смерти жены. Он боится спугнуть это состояние, которое опустилось в него потому, что он решил отложить то ночное подпольное действие, начавшее подчинять его волю уже после обеда. Он боролся с ним в себе самом жестоко, до изнурения и пота, который украдкой утирал, а сейчас, изнеможенный, но притихший, прилег, потому что наваждение отступило.

Сейчас этот человек был доволен уже тем малым, что мог не думать и не желать ничего час или полтора. Он опускался в тишину теплого безвременья, в золотистый сумрак, сквозь ресницы плыли блики в серебряном окладе Спаса Вседержителя, в чеканке дробниц с ликами Иоанна Предтечи и других семейных защитников: Анастасии Узорешительницы, Иоанна Лествичника, Федора Стратилата. Они охраняли его. Запах воска, ладана, мяты и бараньей полости, запах горячего стекла лампад – все это тоже охраняло. А главное – он от буквы до буквы прочел все молитвенное правило и сделал положенное число поклонов. Он был уверен, что если бы пропустил хоть один, то не наступило бы это погружение в мир безопасности. Не открывая глаз, он видит, как растворяется, клубится свод низкого потолка, как исчезают стены, киот, ковер, притолока дверная, и сочится ручейком талым забытая жалость к мальчишке, долговязому, веселому, который бежит за другим, постарше, за Андреем. Андрей ведет в поводу сытую лоснящуюся кобылу, а Ивашка его догоняет, мурава щекочет босые пятки, в голубых лужицах плавают пушинки: мягкое тепло, радость, теплая губа кобылы, под которую он засовывает ржаную краюху. Андрей подсаживает его. «Не за гриву, за повод держись!» Сам садится сзади, прижимает к груди, дергает повод, сквозь рубаху слышно, как бьется ровно его сердце, колеблется земля волнами от неспешного бега лошади. «Быстрее! Еще!» – кричит Ивашка и хохочет.

Где теперь этот Ивашка, который так любил и кобылу, и Андрея, и пух одуванчиков в луже? Что вы с ним сделали, окаянные?

Он открывает глаза – свод каменный низок, закопчен, в углах копится тьма. «Не надо!» – просит он сам себя. И долго ждет, чтобы вернулась жалость.

В той спальне, где, говорят, умирал отец, тоже тьма по углам, сквозняк колеблет свечу, и тогда видны белки и зубы толстобрюхого Шуйского, который привалился в сапогах и шапке на отцово ложе, ковыряет в зубе, бубнит-наставляет что-то, а сам ждет, и мальчишка на табурете, невымытый, голодный, тоже ждет чего-то, угнув голову, глотая страх и ненависть; и вот топот в сенях, вопль – Шуйский, усмехаясь, лениво слезает с ложа, – кого-то волокут через сени, бьют на крыльце в затылок, насмерть. «Доигрался, Федька!» – довольно сипит Шуйский и не спеша выходит, а мельчайшая дрожь колотит зубы, стискиваются кулачки, и, когда вбегает Андрей, прорываются беззвучно слезы. Андрею уже шестнадцать, меч на бедре, голос строг, бесстрашен: «Не бойсь, это Федора Мишулина они, тебя не тронут, не бойсь, идем со мной – убью любого, если...» И рука в руке горячей, крепкой, и горячо в сердцевине груди. Слезы? От любви слезы, да. Что такое слезы? Забыл, забыл... Руку мамки он еще любил – мягкую, старческую, бережную, надоедную, когда все гладила по голове, шамкая, шептала-напевала сказку... Мать он тоже любил, но незаметно, молчаливо – слишком она была далека. Лица их

в тумане, в зыбкой полутьме невесомой, человек на ложе забыл себя, он не здесь. Он тонет в теплоте забытья.

...Кто это рыдает над крошечным синим трупиком? Она? Анастасия? А еще кто? Неужели великий князь Иван? Быть того не может! Но было: на набережной, на истоптанном талом снегу, куда вытащили уроненного со сходней первенца, младенца Димитрия. Наследника... Нет, просто безвинного младенца, который захлебнулся, как кутенок, за две минуты... Билась, вырывалась Анастасия, он обнимал ее за плечи, глотая соль, крик, в черной воде крутилось ледяное крошево, сияли блики голубые на холодной ряби... А сквозь горе сквозило живым мартовским ветром, и в нестерпимом мучении все равно почему-то была жизнь. От любви? Андрей тоже предупреждал его: «Не езд!» Может, он был и прав тогда? Где он сейчас? Ах да, в Юрьеве, наместником.

Человек открыл глаза, увидел, что свод потолка вновь стал низким, тысячепудовым, тусклым, и опять смежил веки. Мгла под сводом все выше, бледнее звезды над предутренней мглой, пар слюится над рекой, зарево небесное и зарево пожара в догорающей Казани слились, роса мочит сапоги, знакомый голос говорит рядом: «А Курбские оба пали. И Роман, и Андрей». Ноги сами останавливаются от несчастья, хочется спросить: «А тела нашли?» Но он молчит, чтобы не выдать дрожь нижней челюсти. С кем это было? С ним? Мало ли тысяч тогда пало! Да, пусть сидит Андрей в Юрьеве – слишком уж он любил Адашева, слишком много знает. Он и в опале будет служить верно... «Но тогда зачем я послал Шемета Шелепина его взять?»

Это была уже здешняя, грубо-откровенная мысль, и все исчезло. В комнате было душно, жарко, затекли руки под затылком, он вытащил их, потер; сна не стало ни в одном глазу. «Да, вот здесь сидел тогда Андрей, слушал, кивал, когда я посылал его в Ливонию. Некого было послать, а он не изменит... Верю ему. Но тогда зачем Шелепин? Зачем велел Андрея взять?»

Он сел на ложе, еще не совсем вернулся в себя: все мешалось и коверкалось – тепло и холод, детство и самодержавие, слезы и коварство. «Шелепина теперь не воротишь назад, а может, Басманов и Грязной правы, послал и послал: для дела государева, для Руси святой все годно. Око мое – государево око. Привезут – может, и помилую...»

Он не стал звать спальников, снял одежду, лег поудобнее, накрылся, вздохнул и уже начал погружаться в обычную слепую темноту, когда в соседней палате, где стояла стража, завопили, зашептались, и сразу поджались уши, зорко раскрылись глаза.

– Кто? – крикнул он громко. – Кто? Войди сюда! – И сел, нащупал посох-копье, прислоненное к изголовью.

Вошел Алексей Басманов, сивый, большеголовый, самый жестокий и умелый советник. Хотя и боярин. Иван Васильевич знал, что без дела Басманов не посмеет будить его. В руке боярина был свиток.

– Откуда? – спросил царь.

Басманов следил за его зрачками, которые бегали, ощупывали; за прикушенной нижней губой... Опасно!

– Из Ливонии. Из Юрьева.

– Ну?!

– Курбский Андрей к Сигизмунду сбежал, – сказал Басманов и весь напрягся в ожидании – не подвернуться бы под горячую руку, отпрянуть вовремя.

Но царь не шелохнулся, только брови поползли изумленно, отвисла нижняя губа.

– Андрей?! – переспросил он и задохнулся, застыл на миг. Миг этот длился, как удушье, потом прорвалось дыхание, заходила грудь. – Быть не может, – заговорил он негромко, словно раздумывая в полусне. – Андрей сбежал? У него, у него... Ты что, Андрей, сделал? – спросил он темное оконце в сад. – Ты ж мне клялся? Зачем же клятву предал? А? Что ж я теперь? С кем мне, а? – Голос его повышался.

Басманов ждал: он знал, что бывает, когда в голосе царя прорываются эти рыдающие нотки. Но Иван встал медленно, подошел к киоту, постоял, отвернув лицо, заговорил властно:

– Возьми сотню своих – удвой стражу в крепости; к реке, к Водовзводной башне вышли на берег двадцать дворян и жди меня с ними там... Нет! Иди удвой стражу и позови ко мне Вяземского, Василия Юрьева, Зайцева Петра, царевичей – Ивана и Федора... – Он говорил рассеянно – о чем-то размышлял углубленно, Басманов сейчас его не понимал. – Будь и сам здесь, ждите в палате, пока не приду, сюда не ходите, а если... Иди! – выкрикнул он, и Басманов быстро вышел, бесшумно ступая, пригнув сивую голову.

Иван еще постоял перед киотом. Он смотрел на лик Царя Царей в серебре и золоте, на лики домашних святых, но ничего не чувствовал, кроме страха, который исподволь подымался, переходя в слепой ужас. Губы шептали молитву, как заговор: «Не убоишися от страха ночного, от стрелы, летящая во дни, от вещи, во тьме преходящая...» – а мысли шли и шли: «Теперь все пропало – нет никого в Ливонии, и возьмут ляхи Полоцк, Псков, Смоленск, восстанет Новгород, подымутся не истребленные еще роды, князья удельные, княжата, Старицкие, Суздальские, Рязанские и иные, схватят, заточат... Бежать, бежать!»

Он оглянулся затравленно: нет, не их немедленной мести он боялся, а какой-то огромной надвигающейся тени-беды, от которой никакое войско не поможет. «Если такие, как Андрей, изменяют, то нет со мной никого отныне и навсегда». Он подошел к стене, отвернул тканый ковер, нажал, сдвинул каменный блок на оси – открылся тайный лаз, который сделал Алевиз – итальянец, построивший эту палату еще при отце, князе Василии. Из лаза, закрывшегося за спиной, светя огарком, спустился в каменной тесноте на четыре ступеньки в свою вторую спальню, где стоял стол, лежали свитки, книги, перья, а у стены – узкая кровать-нары. Со стены смотрел странным взглядом Архангел Михаил – Архистратиг Небесных Сил Бесплотных. Здесь Иван Васильевич скрывался от всех в часы смятения или важных решений, а чаще всего – от страха перед возмездием. Под угрозой казни сюда никто не смел входить, что бы ни случилось. Он сам зажигал здесь свечи – окна не было, – сам стелил постель. Отсюда шел подземный ход в подвал-тайник Водовзводной башни Кремля. Хо́да этого после смерти Алевиза никто не знал.

Иван Васильевич зажег от огарка толстую свечу перед иконой, постоял, опустив руки, расслабив плечи и маску лица – пока он был в безопасности. Тишина здесь была совсем глухая, как в склепе, от каменных стен тонким ознобом постепенно пробирало потную спину, а тишина давила, и надо было ее пробить – впустить воздуха. Он раскрыл книгу на аналое, всмотрелся в строчки, и глаза сузились: «Помысли, душе моя, горький час смерти и страшный суд Творца твоего и Бога: ангелы бо грозны поимут тя, душе, и в вечный огонь введут... – Глаза хотели оторваться, убежать, но не могли. – Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на несправедное собрание, вся бо сия не веси, кому оставиши...»

Он содрогнулся – эти слова Покаянного канона он десятки раз читал, но сейчас они были не написанными писцом ровными строчками, а чьим-то голосом беззвучным, но громовым, проникающим в мозг, в печень, в дрожащую беззащитную плоть; это была угроза, физически ощутимая, словно стыллой мертвечиной дохнуло в ноздри от низкого свода. И опять, как там, наверху, волнами стало накатывать, приближать неведомый ему дотоле ужас.

Иван покосился туда, откуда приближался ужас, и увидел, что Архангел за ним наблюдает неустанно, исподлобья, и не было милосердия в его затененном взоре. Да, давно подозреваемое подтвердилось: это совсем не Архангел Михаил, заступник невинных, это Ангел Смерти. Вот настал срок, и он пришел за ним, за Иваном, не за царем всея Руси, а за озябшим, напуганным человечком, у которого болит печень и пересохло во рту, и нет ни единого друга на земле, нет убежища и, главное, нет оправдания...

Иван знал, почему все скрестилось сегодня – измена, болезнь, Ангел Смерти. То, что он, Иван, хотел сделать сегодня ночью, но отложил, было преступно и вызвало неотвратимую кару.

То, что он хотел, предстало сейчас выпуклой кровавой похотью, которая затягивала, он знал это, в похмелье на много дней и была настолько сладостна и противоестественна, что ее нельзя ничем было отмыть, ведь слез покаянных на это у него давно нет, да и не может быть – кощунство безводно от гордыни. Значит, он, Иван, пропал, потому что гордыню рождает власть, и она же рождает страх, а страх – жестокость, жестокость – сладострастие, и все сначала, в клубке слизисто-кровоточащем, пульсирующем... Нет, не государство это – зачем себе врать? И не человечье даже. «А чье?» – шепнул он, съеживаясь, и замер... Грозно, неподкупно смотрел на него Ангел, во взгляде его стояла близкая смерть. «Никто не знает, где я, кричать – не услышат, а Басманов, может, тоже уже изменил, и в башню тоже не выйти, еды и питья здесь нет. Сколько может человек без еды? Сколько выжил тогда Куракин без еды в заточенье? Говорили, почти месяц... О чем я, безумный! А сколько ложно умерший во гробе может прожить? Как мне Мария-католичка, ведьма, напроорочила: умру ложно. Крика никто из гроба не услышит...»

Иван Васильевич стоял, как в столбняке, зрачки его расширились, рот жалко кривился. Но Ангел был неумолим, и Иван хорошо понимал его – он и сам был неумолим. «А за то ночное дело... Какое оно, какое? Я не ответил Ангелу на это, но отвечу», – сказал он себе, пытаясь искренностью отдалить возмездие.

– То дело – бесовское! – выкрикнул он, глянул в пасмурные глаза Ангела и защитно вскинул руки: хулящим Духа Святого нет прощения, и оттого лик Ангела словно озарился отблеском небывалого зарева, тень его острых крыл уходила в тени туч, и Иван, отбросив все царское, как ветошь, рухнул мешком костей на ледяной пол: он покорился. Он стал умолять. Это были слова не церковного канона, а его собственные, сухие, но отчаянные, мольба об отсрочке – на полное прощение Ангел Смерти права не имел.

Иван шептал, задыхаясь, чувствуя, как подымается, начинается в нем нечто, как последняя мольба:

– Возвести мне конец мой, да покаюсь дел своих злых, да отрину от себя бремя греховное. Далече мне с тобой путешествовати! Страшный и грозный Ангел, не устраши меня, мало-мощного!

Бессознательный речитатив прервался, и он с тоской ощутил свое дрожащее толстое тело, горечь в гортани, удары жилки на шее – скоро ничего этого не будет, а будет... Что?! «Святой Ангел, грозный воевода, помилуй меня, грешного раба твоего Ивана! Да не ужаснуса твоего зрака...» Он не мог взглянуть на Ангела, он пытался вспомнить тех, кто смог бы за него искренно просить: сыновья? жена? митрополит? «Люди Божии, благочестивые, и все племена земные, когда увидите смертное мое тело, поверженное на землю и объатое зловонием, помолитесь ко Ангелу смертоносному о мне, да ведет душу мою в тихое пристанище, да весело и тихо напоит меня смертной чашею...»

Толстая свеча в высоком литом подсвечнике оплыла, укоротилась, когда царь поднялся с пола. Он сделал два неверных шага и ничком упал на ложе: вся сила и гордость вышли из него сейчас вон, и он знал, что в этом – отсрочка приговора, ведь он только что обещал Ангелу отречься от престола – от самого себя.

Это было обещание невозможное, но он его дал, потому что надо было получить отсрочку. Он спасет себя и ближних своих, он примет постриг, и они с ним. Но принявший постриг не может править царством земным. «А почему?» – спросил голос. – Почему не может? Для Бога все возможно. Днем – править, служить людям, Руси. А ночью – молиться, служить Богу. Никто до этого не домыслил, но мне это Бог послал в разум как откровение. Днем мы из-за государственных дел вынужденно оскверняемся кровью и гневом. Ночью мы очищаемся, чтобы с утра яснее видеть правду и судить нелицеприятно. И будет новый орден монашествующий! Не такой, как у рыцарей тевтонских или Тамплиеров, или Иоаннитов, а такой истинный, какого ни у кого не было...»

Эти мысли прошли сквозь него, как вихрь, они совпадали с его обетом отречься и не совпадали, и он опять испугался, хотя чувал, что Ангел приостановил свой удар. Еще тогда остановил, когда он говорил ему свою молитву. Она излилась из него, как песнь предсмертная. Разве это не знак свыше?

Он лежал, уткнувшись в ладони, и все еще дрожал, как большое, насмерть напуганное животное, но постепенно дрожь стихала. Ангел услышал его вопль-молитву, и это – его дар Ангелу, и дар был принят. Он глубоко вздохнул, лежал, опустошенный до дна, но уцелевший. Это было краткое промежуточное состояние меж двух состояний, с детских лет главных: жажды власти и страха смерти. Он лежал, уже отходя от страха, но не показывая виду, – Ангел все смотрел в спину; незаметно Иван стал спускать ноги на пол, боком, ни разу не глянув на Ангела, морщась болезненно, даже охнув, он подтащился к стене, нащупал, нажал в лепнине скрытую пружину и нырнул в черный лаз, который вел наверх, в его царскую опочивальню. Там никого не было, в оконце брезжил весенний рассвет, оттуда дохнуло свежей листвой, росой, землей. Иван Васильевич вздохнул всей грудью, накинул меховую безрукавку, крикнул слугу.

– Годунов здесь? Позови. И принеси сбитня горячего. Быстро!

Он сел, задумался: «Нет, Ангела страшного обмануть нельзя – я исполню обещанное, если такова воля Божия. Но людей для пользы власти нашей обманывать не грех, а не то они раньше времени истребят и меня, и друг друга». Поэтому он сказал вошедшему Борису Годунову – постельничему и начальнику его, царя, личного сыска:

– Собрались, кому велел?

– Да, государь. Ждут.

– Пусть идут спать – из-за Андрейки-беглеца нечего шум разводить. Стражу удвоили? Кем?

– Удвоили. Во дворе Басманова сотня. А здесь, в сенях, я своих поставил да дворян Юрьева и Плещеева.

– Хорошо, Борис. – Иван Васильевич отпил два больших глотка горячего сбитня, подумал. Годунов пытливо посмотрел на его измученное, но спокойное лицо и потупился. – Главное, Борис, поставь тайный глаз за князьями Александром Горбатым, Иваном Сухим, Димитрием Шевыревым, Петром Горянским... Да и за Суздальскими надо бы...

Годунов начал понимать мысль царя.

– А ближних и слуг Андрея Курбского, скажи Малюте, ночью возьмите. – Иван помолчал. – Семью тоже... Перехитрил он нас, собака! – Но в голосе не было злобы. – Пошли в Юрьев Морозова со стрельцами – смените гарнизон. Федьку Бутурлина привезите в Москву.

Иван Васильевич говорил все это тихим, но твердым голосом, он старался ничем не выдать того мерзкого ужаса неминуемой животной смерти, который вошел в него и так и остался, еще давит стылым комом. «Я велю написать канон Ангелу грозному, безымянному... Он принял мой дар...»

– Ступай, Борис, а мне пошли отца Афанасия.

Годунов поклонился и вышел. Иван лег, накрылся мехом, поджал коленки, отогреваясь. «Князья, княжата... – подумал он устало. – Пусть грызут друг друга – уйду...» В этом решении было и облегчение, и пустота бессмыслицы какой-то: зачем же тогда все, что он сделал для Руси, и преступного тоже? Но думать сейчас он не мог – его точно избили и бросили на дороге полуживого. Лицо в лампадном свете казалось больным, желтым, во впадинах копились лиловатые тени. Вошедший иеромонах Афанасий, духовник царя, постоял, прислушиваясь к хриплому дыханию. Иван простонал во сне, повернулся на бок. Афанасий покачал головой, перекрестил его и неуклюже, широко шагая, на цыпочках вышел из опочивальни.

Ночь майская кончалась, она была прохладной и душистой: черемуха зацвела. Иван спал, но во многих домах Москвы не спали: от Басманова пошел слух, что царя хотели извести зельем

и что скоро будет розыск и справедливый суд, потому что если Курбский, высоко вознесенный, изменил, то чего ждать от тех, кто в опале или обижен?

Облака рассветные тонули в серой реке, кончали щелкать соловьи в рощах и садах, а люди шептались, качали головами, иные молились, а еще некоторые, узнав о бегстве Курбского, прощались с женами и детьми. Один Алексей Басманов, которого ненавидели все его прежние друзья-бояре, был рад и почти не скрывал этого.

5

Андрей Курбский знал, что самые близкие его – заложники. Сын, мать, жена. И страшнее – могут их заморить. Старуху, ребенка. И женщину – простодушную, глуповатую, ревнивую и по-детски обидчивую; вечно что-то болело у нее, и видел он ее редко, а не скучал, но сейчас именно это простодушие и полная невинность жены Ирины, ее круглое румяное лицо и смешные вопросы, ее утренний чай в липовом саду, когда осы кружатся над вареньем, ее смех без причины – все это вызывало вновь тяжелую ненависть к Ивану Васильевичу Московскому. Это было чувство постоянное, чугунное, и Курбский не хотел от него избавляться; теперь, когда эти три лица стояли перед ним в застывших, как лед, слезах – сын, мать, жена, – он хотел одного: скорее выступить в поход, чтобы не думать, а мстить.

Но поляки не ладили с литовцами, немцы просили денег, шведы выжидали в Ревеле, а магистр ордена торговался за каждый город, еще ничего не сделав, и поэтому выступление все откладывалось. Только на границе легкие конные отряды охотились за языками, сшибались с разъездами Шереметева или просто грабили того, кто подвернется. Ничейная полоса была разорена и пуста; в эту весну плодились волчьи выводки, зарастали бурьянами и ромашками пахотные клины, на пепелищах чернели глиняные очаги, и яблоневый цвет облетал на невзрытую, брошенную землю.

Один из отрядов привез бежавшего из Смоленска стрелецкого старшину, и тот рассказал, что в Юрьеве сменили гарнизон, что Федора Бутурлина заковали и увезли, что, говорят, в Москве, как перед мором, тихо и страшно – все ждут, что теперь будет. От этих рассказов перед Андреем возникла вновь мать, матушка, княгиня Тучкова, ее мягкое умное лицо, серые задумчивые глаза, тонкие седые волосы. Ее знали как одну из самых набожных и начитанных женщин не только в Ярославле. Андрей помнил, как брат ее, Василий Тучков-Морозов, написавший по просьбе митрополита Макария житие Михаила Клопского, передал сестре по завещанию часть своей знаменитой библиотеки и как в их имение, в село Курба привезли летом укутанные в рядно тюки со свитками и толстыми кожаными книгами, и как мать говорила, что сам Максим Грек в богословском писании обращался к ее просвещенному брату. Мать научила Андрея читать и испытывать прочитанное мыслью и опытом, а в Троицком он видел ссыльного Максима Грека, когда тот отговаривал Ивана ехать к Василию Топоркову; Максим предрек наказание за послушание – смерть сына, и сын этот, Димитрий, утонул на обратном пути. Не тогда ли помутился в Иване облик душевный, царский, которому Андрей с радостью служил? Кто обличит его теперь, кто спасет Русь?

Курбский встал и начал ходить по комнате. Весь дом Радзивилла Черного, где он жил, спал крепко. Один Шибанов не спал – слушал, лежа на кошке за дверью, шаги князя и качал лохматой головой, что-то шептал себе под нос, иногда крестился. Он слышал, как князь сел к столу и зашуршал бумагами. Когда забелело в окнах, Шибанов проснулся окончательно и сунул голову в дверь – Курбский сидел и что-то яростно писал, а постель стояла несмятая.

В ту ночь Василий Шибанов спал сначала спокойно, даже радостно, потому что видел и ощущал, как они с женой Нюшей и племянником Мишкой ставят стог за Фиминой бориной на берегу Вольги, возле бочага. Речушка была лесная, темная, но здесь она выходила из ельников через редкий березняк опушки на широкую сенокосную поляну – кулижку, – на их покос. На поляне неярко грело солнце, вянул земляничный лист на обкошенных кочках, а если глянуть вверх по речке, там, вдали, в еловом прогале русла дымилась небесная тишина.

Нюша сгребала, Василий подымал на стог пудовые навильники крепко, горько пахнувшего сена, а Мишка на стогу уминал его ногами. Когда сметали, Нюша очесала стог граблями подгребла раструженные остатки, а Василий, отставив вилы, отер пот и вздохнул во всю грудь. Он стоял, отдыхая, смотрел на Мишку, который все не слезал со стога, слушал, как

побрякивает недоуздом распряженная кобыла, и ни о чем не думал. Ему было так покойно и хорошо, как давным-давно не было. Еще лето не кончилось, но в темном бочаге плавали два березовых листка, чисто-желтых, осенних, голубел клок небесный у затопленной коряги, и так было чего-то жалко, словно слезы подкатили, а Мишка на стогу ничего этого не замечал. «Слезай!» – хотел сказать Василий, но не смог, и ему стало почему-то страшно. Мишка стоял высоко вверх, закинув лицо к небу, ветерок шевелил рыжеватые волосы, распоясанную рубаху. «Слазь!» – крикнул Василий, но звука не получилось, а Мишка стал вместе с поляной отделяться, отдаляться в какую-то полупрозрачную невесомость, чужую, холодноватую, которой на обычной земле не бывает ни летом, ни осенью. Василий понял, что Мишка его не слышит и что только заговором его можно остановить от этого необратимого отдаления, но он забыл заговор и испугался еще больше – одна мысль о заговорных словах удалила Мишку со стога еще дальше, краски поблекли, и остался один черно-синий силуэт парнишки, который смотрел вверх, безвольно опустив руки, словно чего-то ждал...

Василий замычал, тяжело повернулся и разлепил веки. Окна мутнели от рассвета, от пола, на котором он спал, пахло псиной, ливонской какой-то плесенью. «К чему бы такой сон?» – подумал Василий. Ответа не было, только тоска все сосала под вздохом, тоска по этому покосу за Фиминой бориной на Вольге, тоска по Нюше. Давно не было в походах эдакой злой тоски. «Ливония! – четко сказал Василий сам себе. – Не судьба, да, не судьба мне теперь...»

Вот оно – сбылось невозможное: люди Курбского схватили на дороге самого царя, который ехал с малой охраной к осажденному Полоцку, и привезли его в стан, связанного, оборванного. «Вот он, всемогущий владыка наших жизней. Теперь он должен будет ответить на все мои вопросы! Развяжите его!»

У Андрея горело все лицо, он кусал губы, сжимал до боли кулаки, чтобы не ударить того, кто стоял во мгле рассветной перед ним так близко, что видны были в сером черные жуткие зрачки. Они уперлись и ждали, и, погружаясь в них, Андрей говорил тяжело, с мучением, но и с радостью: «Я поставлю тебя перед всем народом, перед иереями, князьями и воинами, и буду спрашивать, как простого пленного, а ты будешь отвечать! Так, как ты стоял на Стоглавом соборе, но тогда *ты* спрашивал, а мы отвечали. Теперь мы сравнялись силой, Иван! Становись и отвечай мне по ряду: ты не царь, а преступник. Почему не царь, ты спрашиваешь? Отвечу тебе, Иван. Потому, что Бог поставил тебя править самым светлым царством – Русью православной, а оказалось, что совесть твоя прокаженная, что такой нет и у безбожников. Ты сам снял с себя сан свой преступлениями и кошунствами. Ты – еретик!»

Воронки зрачков на ноздревато-сером лице Ивана втягивали каждое слово, но лицо было неподвижно и бесцветно, как пемза, только края ноздрей розовели да полоска нижней полувисшей губы.

«Ну, говори, защищайся! – сказал Курбский. – Мы не ты, у нас суд правый. Что ж ты молчишь? Тебе нечего сказать, Иван! Тогда слушай! Зачем истребил ты без суда тех, кто возвеличил своими победами нашу родину и тебя с нею? Избранных людей в избранной стране! На церковном пороге пролил кровь невинную, а значит, кровь мучеников! Зачем? Молчишь! Да и что тебе ответить? Но знаешь ли ты, что придется тебе ответить? Ведь ты их замучил в своих застенках такими мучениями, о которых нигде не слыхано было до тебя! И не только их, но и детей их, и близких ты истребил, Иван. Ты – убийца!»

Курбский шагнул вперед, в струю рассвета, точно хотел пронзить того, кто стоял перед ним туманным столбом, из которого по-прежнему смотрели два черных страшных зрачка.

«Или ты думаешь, что безгрешен? – спросил Курбский эти по-птичьи роговые глаза. – Ты впал в ересь, и Судия неподкупный, в Которого я верю, спросит с тебя за все, хотя ты и молчишь сейчас. И за меня тоже».

Курбский помолчал, собираясь с мыслями. Обида подступила, человечья, горькая, он сглотнул.

«Или я не любил тебя, Иван? – спросил он шепотом. – Вспомни Москву, Коломенское, Казань. Я тебя любил с юности, Иван. А ты!.. Что я тебе сделал? Не знаю за собой ничего. Наоборот, многие годы для тебя воевал на рубежах вдали от семьи, от молодой жены, сын родился без меня, отец без меня умер. Сколько ран получил, защищая тебя, – не перечесть.

Под одной Казанью, когда подняли, – двенадцать ран, а две – тяжелых, весь в крови, кровь эта обличит тебя перед Богом, Иван, – не скроешься ты никуда! Я, может, один тебя любил, а ты изгнал меня и все отнял. Помнишь село Воробьево? Помнишь, что сказал мне в Москве, посылая сюда? Помнишь, в детстве, в спальне твоего отца, когда Шуйские взяли ножи? Помнишь, как трясся тогда, за мой рукав цеплялся? И я тебя жалел, я тебе клялся в верности и исполнил, как немногие, несмотря на твое коварство. Ты – хищник, Иван. Зачем ты Алексея Адашева, человека светлого, бессребреника, изгнал сюда и велел отравить, наверное? А святого Сильвестра? Ты разрушил сам нашу Избранную раду, все доброе и крепкое, что воскресило бы славу Руси, ты, как самоубийца, не будешь прощен!»

Курбский наклонил голову, голос его звучал измученно глухо:

«Я буду обличать тебя на Страшном суде и здесь тоже, я призываю на помощь против тебя Божию Матерь, всех святых и покровителя рода моего, праведного князя Федора Ростиславовича Смоленского».

Курбский перекрестился, поклонился на восток, с которого все шире и шире вставало легчайшее сияние восхода; только в зените бледнели еще мелкие звезды, листья в саду стали видимы, четки, они отяжелели от росы; в розоватом тумане истаявали, пропадали два внимательных черных зрачка, и вслед им Курбский послал последнее и самое для них непереносимое:

«Знаю я из Священного Писания, что послан уже на нас дьяволом зачатый в прелюбодействе губитель – Антихрист. Не от него ли советник твой, тоже зачатый в прелюбодеянии? Не он ли шепчет в уши твои клевету и проливает кровь невинных? По делам он – Антихрист, а ты прижал его к своему сердцу... А ты сам кто? Подумай, не вошел ли в тебя он, имени которого не хочу повторять... Законом же и в храм таких не допускают, Иван. Страшно мне, и тоска моя не знает исхода, и призываю я тебя на суд!»

Зрачки – две черные дыры в чужую душу – растаяли в рассвете, Андрей сел, уронил голову. «Но пусть и все государи, народы, потомки даже знают его вину!» – подумал он и выпрямился.

Когда ранним утром Васька Шибанов просунул голову в спальню, Курбский дописывал: «Писано в городе Вольмаре, владении государя моего Сигизмунда-Августа, года от Рождества Христова 1564, июля третьего дня».

Василию Шибанову было под сорок, и вид у него был мужицкий и суровый, но на ногу он был легок и в седле не знал усталости. Был он у Курбского стремянным с детства. Когда он просунул голову в спальню князя, было уже светло, и мысль Курбского от письма, только что написанного, перешла к мысли о том, кто доставит такое письмо Ивану Грозному. Никто.

– Василий, – сказал Курбский, – пойди сюда.

Он смотрел в простые и твердые глаза стремянного, на его жилистую шею под раскрытой рубахой, на его всклокоченную со сна голову и не мог сказать того, что хотел: здесь, в Ливонии, не было с ним человека роднее. Но надо было себя пересилить, как и раньше, на войне, пересиливал, и он сказал:

– Василий! Эту грамоту отвезешь в Москву царю Ивану. Не испугаешься?

Курбскому стало стыдно: не надо было так спрашивать.

– Отвезу, – сказал Шибанов и сжал толстые губы. Глаза его посуровели.

– Надо, чтобы письмо это в руки царя попало. Переоденься мужиком, переедешь рубеж – езжай лесами, тропами, а в Москве тайно его подкинь царю в палаты, в Кремль, либо в другое

место, где он будет, или еще что придумай... – Курбский говорил это запинаясь, хмурясь. – Понял? А на обратном пути заезжай в Псково-Печерский монастырь, попроси у игумена денег взаймы для меня, триста-четыреста рублей, скажи, как получу после похода поместье, так и отдам с лихвой. Да пусть не боятся войны – я их монастырь Литве разорять не дам. Ну?

Шибанов молча кивнул.

– Иди соберись, в ночь выедешь, до рубежа тебя конные проводят, покажут, где переходить. Ну?

Шибанов переступил, вытер рот, поправил ворот рубахи.

– А можно мне, – спросил, смущаясь, – в Коломенское заехать? Там сестра моя, сирота, в услужении живет, дак я ей кой-чего оставлю...

– Смотри, не опознали бы тебя там! – сказал Курбский. – Сам знаешь, что тогда... – И он потупился.

– Князь! – ответил Шибанов хрипло. – Ты не думай чего... того самого... письмо твое доведу, доставлю, ты не думай так-то...

Курбский быстро на него глянул:

– Царю письмо-то, Васька. Самому. Понял?

– Понял, – понижая голос, сказал Шибанов и поклонился в пояс, пальцами тронул пол.

У Курбского перехватило горло, он шагнул, обнял жесткие, неподатливые плечи, ткнулся губами в теплую голову, оттолкнул, сказал:

– Может, другого кого?

Но Шибанов повел плечом, боком вышел, крепко пристукнул дверью.

На дворе уже лежало солнце, голуби-сизари ворковали на желобе, за оградой заржал жеребец Радзивилла Черного, и наступил день.

6

День шел за днем – июнь, июль, август, – жаркий и пыльный, и грозы шли с юго-западным ветром, ночью озаряло черное окно, рокотало грозно в меднобрюхих тучах, выхватывало белым огнем смятенные ветви деревьев, но дождь не выпадал, и сухо, душно проходила ночь, чтобы уступить еще одному дню.

Сильное тело Андрея томилось в такие ночи и ждало дня, чтобы впитать росу, солнце, травяной, выстоявшийся дух заливного луга. Он отъезжал часто из города то с соколами к реке, то вместе с разездом к рубежу – тело просило боя, выхода сил и обиды, но от стычек его оберегали по приказу Радзивилла Черного, который не раз упрекал его в легкомыслии и нетерпении. Но сколько же терпеть? Дошел слух, что в Смоленске собирается войско для вторжения в Ливонию, чтобы выйти к морю, запереть немцев в Риге. Это могло стать: Полоцк, Орша и Юрьев – пограничный рубеж – были в руках царя Ивана, а страстную мечту его выйти к морским путям в Англию, Голландию, Францию Курбский давно знал. Приехал тайный лазутчик, Радзивилл заперся с ним, и Курбского не позвали. Он кусал губы, притворялся равнодушным, потом взял пару слуг и ускакал в дальнее урочище, где была рыбацкая избушка, вернулся только поздно ночью. Мишка Шибанов, который теперь был его личным слугой вместо дяди Василия, спал так крепко, что проснулся только тогда, когда Андрей нечаянно наступил ему на ногу, – он спал на кошке у порога; сел, таращась на свечу, нащупывая зачем-то нож под одеждой. Известно, молодой сон самый дурацкий.

Андрей усмехнулся:

– Подай умыться – слей в таз, а потом принеси романеи и поешь чего-нибудь. Ну, чего выпучился?

– Князь, а ты искали, искали! – сказал Мишка, заправляя рубаху в порты. – Шибко искали!

– Ну? Так искали, что спать не давали?

– Спать? Не, я поспал... Чего спать-то? Искал сам гетман.

– Радзивилл?

– Он. А еще и другой приехал, ляшский, и с ним двенадцать тысяч шляхты. Вдоль все в серебре да перьях!

Мишка любил поговорить, Курбский, улыбаясь, его слушал.

– Гетман, говорят, самый главный у ляхов, как его... гетман Станислав Брехановский. Да!

– Стехановский, – поправил Курбский. Ему становилось все веселее. – Ну, дай умыться.

Поем и пойду, если не спят.

Он с аппетитом откусывал сыр с хлебом, запивая вином, когда вошел слуга от Радзивилла, поклонился низко, молча встал у притолки.

– Говори! – прожевывая, сказал Курбский.

– Пан гетман просит, князь, прийти на совет, хоть ты и с дороги.

– Скажи, приду.

У Николая Радзивилла Черного – главнокомандующего и великого гетмана Литовского – сидели командиры полков, подканцлер Войнович и незнакомый Андрею белокурый загорелый шляхтич в мехах, парче и цепочках; разноцветно играли камни на эфесе его сабли, пылливо разглядывали Андрея васильковые жестковатые глаза. Это был гетман королевского войска Станислав Стехановский, который привез последние распоряжения Сигизмунда-Августа и новости с Запада. Радзивилл Черный был в своей неизменной засаленной кожаной куртке, он кивнул Курбскому, сказал:

– Садись, князь. Из Смоленска доносят, что Петр Иванович Шуйский готовит отряд идти на Ригу через Полоцк, где к нему присоединятся еще войска. С ним пять тысяч и легкие пушки

на конной тяге, полк стрельцов с Захаром Плещеевым и конница с воеводами Иваном Охлябиным и князьями Палецкими. Что в Ригу, мы не верим. Но нельзя им дать зайти в Ливонию глубоко – здесь мы не укрепились, как надо. – Радзивилл замолчал, его серые глаза пристально смотрели в окно, стальная челка отрезала смуглость нахмуренного лба. Все тоже молчали. – Можешь ты, – Радзивилл глянул в глаза Андрею, – опередить их и задержать? Мы дадим тебе пять тысяч шляхетской конницы, моей и Острожского, и на телегах две тысячи немцев – кнехтов и арбалетчиков. – Он помолчал. – Мы знаем, что ты давно рвешься в битву, но не это главное: главное, что ты хорошо знаешь эти места. Подумай, не торопись.

Андрей сдержал вспыхнувшее торжество.

– Я знаю эти места хорошо, – сказал он Радзивиллу. Он старался не смотреть на поляка Станислава Стехановского – он чувствовал щекой его недоверчивый взгляд. – Я воевал в тех местах. Но надо выступать немедленно: если они пройдут Богушевск, они могут выйти в тыл Витебску, и тогда...

– Да, – сказал Радзивилл, – и Витебску, и Великим Лукам. Надо спешить. Давайте, панове, краткий ответ: к вечеру вы готовы будете выступить? – И он посмотрел на гетмана Стехановского и на литовских и польских ротмистров – командиров полков и хоругвей.

Военный совет начался всерьез. Он кончился под утро. Но Курбскому уже некогда было ложиться спать.

И вот все кончено – снято напряжение двух недель, которое не отпускало ни разу с того военного совета в Вольмаре и, наконец, провалилось под землю на этой лесной грязной дороге через смешанный елово-березовый лес. Все кончено – Петр Шуйский разбит наголову, его пятитысячная армия в панике рассеялась в лесах и болотах вдоль реки Улы от Орши до самого Богушевска. Это случилось сегодня ночью, а сейчас раннее утро, и они едут с Иваном Келеметом, с которым соединились час назад: Келемет был с Засадным полком, с волынцами самого Радзивилла Черного. Келемет был в схватке, от него пахнет горячим мужским потом и болотом, его лошадь вся в грязи. Они едут по тылам главного полка, Сторожевого, в который входит вся шляхетская, ляшская конница и тысяча немцев. Немцы сейчас на дороге Орша – Полоцк, там же стрельцы. Это заслон надежный, и можно расслабиться, подчиняясь шагу коня, бездумью победы, и ехать не спеша, вдыхая болотистые испарения чернолесья, запах хвои, брусники, мокрых грибов на поваленных колодах. На дорогу вытаскивают из тумана трупы и раненых, слышны голоса, треск сучьев, чавкающие шаги, всхрапыванье коней, чей-то смех и очень далекий призывный звук трубы – где-то продолжают отзывать пропавшие в погоне отряды. «Этo чья хоругвь?» – кричит кто-то, и кто-то отвечает, кое-где уже горят костры – там перевязывают раны, варят кашу или просто ждут, когда все соберутся и поступит новый приказ. Но во всем этом лесном временном бивуаке, растянувшемся на две версты, чувствуется то облегченное, добродушное расслабление, которое охватывает людей, вышедших из боя. Курбскому знакомо это, он отдыхает.

У одного костра слышится русская речь, толпа в литовских доспехах окружила кого-то, люди что-то разглядывают, кто-то свистит насмешливо, и все разражаются смехом, а потом смолкают – слушают чей-то напуганный высокий голос, который не то умоляет, не то рассказывает нечто всем интересное. Это – русские пленные. Курбский и Келемет едут мимо. «Воевод Захара Плещеева и Ивана Охлябина на реке пленили. Князя Острожского люди. Видел их?» – спрашивает Келемет равнодушным голосом. «Видел», – отвечает Курбский таким же голосом. Но он не видел воевод вблизи – он издали следил, как их вели в лагерь Острожского, спешенных, простоволосых, грязных.

Они едут дальше, молча, на свет большого костра, который в утреннем тумане кажется матовым круглым фонарем, подъезжают ближе, но к костру нельзя проехать на коне – он на поляне за ельником, – и они спешиваются, бросают поводья коноводам и идут по мокрой коч-

коватой ложбине, отводя от лица ветки: им хочется размяться и погреться у огня. Но у костра никто не сидит – все стоят и смотрят вниз, много людей в разной одежде: и литвины, и ляхи, и немцы. А на земле лежат мертвые тела; одно, огромное, ближе к огню, и все его рассматривают. Это тучный пожилой человек. Его тело давно окоченело, желтовато-белое лицо, черные с проседью волосы и такая же борода запачканы землей, под приоткрытыми тусклыми глазами – фиолетовые отеки. И поблескивают зубы, точно в усмешке, а на щеке – засохшая кровавая царапина. Это главный воевода, Петр Иванович Шуйский, убитый на реке Уле, а рядом – двое князей Палецких; у одного проломлен череп и лицо залито кровью, как будто на него надели красную шелковую маску. Но Курбский узнал и его. Он знал всех троих, особенно Петра Шуйского, с которым вместе ходил на черемисов и на ливонцев, хотя и не дружил, но доверял – война всех побратала. Вот он лежит, не видя ничего и не слыша ни треска костра, ни речи человеческой, а как любил выпить и посмеяться после похода!

Какой-то шляхтич в богатом кафтане и рысьей шапке протолкался, поглядел и пнул Шуйского сапогом в лицо: «Отвоевался, схизматик!» Тупо дернулась тяжелая голова, и Курбского окатило холодом, рука рванулась к эфесу... Он повернулся и пошел прочь, и Иван Келемет – за ним, они шагали молча, чавкала болотина под ногами; совсем рассвело, побелело. Курбский все видел каменное лицо Шуйского, его усмешку, березовый листочек, запутавшийся в седоватой бороде. «Чем ты руку-то попортил?» – спрашивает он Келемета. «Руку?» – Келемет поднимает правую руку, разглядывает: у ногтей запеклась кровь, и рукав тоже вымок, окровавлен. «Это не моя, – говорит он и косится исподлобья на Курбского. – Это я одного срубил, когда к реке выскочили...» Они опять идут молча, отстраняя еловые лапы, перешагивая через колодины. «Не сюда, князь, правее надо», – говорит Келемет, и они идут правее, по пожухлым папоротникам и, наконец, выходят на лесную дорогу, где их ждут кони и люди. По дороге густо идет конница Станислава Стехановского, она возвращается после погони, которая длилась до полной темноты; конники много и громко говорят, некоторые шутят, иные, отдав все силы, дремлют, качаясь в седле, или, серолицые, бледные, едут, стиснув зубы от боли, белеют свежие повязки.

Это все знакомо Курбскому и привычно. Они смешиваются с конницей и едут на запад; лесной пар уже золотится солнцем. Первые дни теплого сентября, на елях посверкивают шишки. Курбский никак не может забыть окоченевшее лицо Петра Шуйского, его неуместную мстительную усмешку и зазубренный березовый листочек в черных с проседью волосах.

7

Шестнадцатого сентября сорокатысячное польско-литовское войско с Радзивиллом, Слуцким и старым Григорием Ходкевичем, великим гетманом Смоленским, вышло на берег Двины в двух верстах от Полоцка и стало окапываться траншеями, турами и ставить палисады; растягиваться и окружать город, обкладывая плотно пока не решались: крепость была укреплена лучше, чем доносила разведка, во-первых, и на помощь Полоцку шли ускоренными переходами царские войска из Великих Лук с воеводами князьями Пронским и Серебряным – вторых. От Курбского было известие о победе над Петром Шуйским, но самого его и с ним Константина Острожского и Богуша Корецкого ждали дня через четыре, а без них о штурме не могли договориться, собирались, пили, спорили и ругались, как обычно. Радзивилл Черный, учившийся войне у гугенотов, все это молча презирал. С приездом знатного Ходкевича власть в войске разделилась, но Ходкевич, хитрый и прожженный в интригах царедворец, не брался сам все решать. В Полоцке сидел Петр Щенятев, молодой, но уже прославленный под Казанью воин, который не умел сдаваться и делал ночами дерзкие и кровопролитные вылазки. Припасов, говорили лазутчики, у него много, и пороха и ядер – тоже, а стены – это и так было видно – укрепили новыми стрельницами, заделали проломы, расширили рвы. Весь посад был выжжен вровень с землей, жители говорили, что в город литовцев и поляков не пускали, что там только русские попы с семьями да старики и старухи остались, а так одни воины, стрельцы и конница. Пушки из Полоцка били далеко и метко даже по отдельным разъездам, и было известно, что это пушки ордена Ливонского, захваченные при разгроме магистра Фюрстенберга пять лет назад, и это было обидно. Радзивилл ждал Курбского еще и потому, что знал, что он дружил с Петром Щенятевым, и хотел использовать это, чтобы склонить Щенятева к сдаче города на почетных условиях.

Наконец, девятнадцатого сентября на Смоленской дороге показались конные дозоры Курбского, а через час он сам вошел в шатер Радзивилла Черного. Гетман сдержанно, как всегда, обнял его, поздравил с победой и усадил за стол. Они были одни, и Курбский, выпив вина и утолив немного голод, стал сразу спрашивать про дела. Он узнал о подходе войск с Ходкевичем, об угрозе помощи Полоцку из Великих Лук, о неудаче королевских войск под Черниговом и Озерищем.

– Мы допросили пленных, – сказал между прочим Радзивилл, – и они доносят, что Петр Щенятев и не помышляет о сдаче. Ты знал его?

– Знал. Он не сдаст город.

– Даже если *ты* убедишь его?

Курбский покраснел и взглянул на Радзивилла, но тот спокойно встретил его взгляд. Было душно и жарко в дорожном лосевом кафтане, после вина и мяса отяжелел желудок, подпирало дыхание.

– Ты знаешь, что это был мой друг? – спросил Курбский сердито.

– Знаю. Потому я и ждал тебя.

– Он тем более не сдаст город, если *я* буду просить. Разве ты не понимаешь, что он не простит мне этого?

Радзивилл задумался. Текли минуты, за шатром смеялись чему-то у коновязей конюхи и слуги, лаяла далеко и надсадно чья-то собака, свежий ветерок доносил запах сена с реки.

– Сможем ли мы за неделю взять Полоцк? – в упор спросил Радзивилл. – Мы не можем ждать распутицы и подкреплений русским.

«Если я скажу „сможем“, но город устоит, они скажут, что я хотел их погубить, а если скажу „не сможем“, они скажут, что я трус и втайне на стороне Петра Щенятева, своего друга».

Курбский посмотрел Радзивиллу в глаза, но эти холодноватые, честные глаза не изменились ни на йоту. «Зачем Радзивиллу испытывать меня, если он мне верит?»

– Когда мы Полоцк брали, – начал он медленно, – у нас было дворян восемнадцать тысяч, да воинов из крестьян тридцать тысяч, да стрельцов и пушкарей более семи тысяч. И еще шесть тысяч казанских татар и черемисов. – Он помолчал, успокаиваясь от молчания Радзивилла: это было внимательное и дружеское молчание. – Да стенобитные пушки и ядра мы подвозили из Смоленска по ледянке, а что у вас сейчас есть?

Радзивилл кивнул.

– Я не боюсь! – вспыхнул Курбский. – Велишь – пойду хоть завтра на штурм.

Радзивилл опять кивнул.

– Ты пойдешь на Великие Луки, в ту сторону: надо задержать Пронского и Серебряного хоть ненадолго. Я тоже думаю, как ты, но пока не говори этого никому. – Он поднял узкую ладонь над столешницей. – Никому!

Курбскому стало стыдно.

– Я всегда тебе верил, – тише и тоже чего-то смущаясь, сказал Радзивилл и дотронулся кончиками пальцев до руки Курбского.

Рука сама дернулась и убралась со стола на колени; Курбский смутился еще больше, он внутренне весь сжался от этого прикосновения: он же не виноват, что этот человек, который так любит его, еретик. «Но нельзя, хоть умри, показывать ему, как мне противно». Он рассердился на себя и вытер лоб, Радзивилл видел его смущение, но не понимал причины. Или нет, понял: он не хочет нападать на друга, на Щенятева.

– Отдохните дня два-три и выступайте, – сказал он. – Сабель пятьсот тебе хватит: нельзя их пускать в глубь Ливонии, пока мы под Полоцком. Возьми своих, и я тебе дам полк волынцев и галичан – там почти одни русские.

– Да. Дай мне свежих коней, и я выступлю послезавтра. И еще дай аркебузников-немцев. – Курбскому хотелось быть одному и лечь. – Какие еще новости? – спросил он.

– Царь велел выслать из Дерпта всех немцев. Их выслали в глушь, в Казань.

– Это же во вред ему: торговля встанет, ремесла. Да впредь и сдавать города легко никто ему не будет! Глупо это: бюргеры в Дерпте смирные и работающие, я знаю их.

– Да. Но жестокость всегда глупа и истребляет сама себя, в конце концов. – Лицо Радзивилла стало мрачным. – Разве умна римская инквизиция? Лучшие люди из Франции, Италии и других стран бегут в наши свободные государства...

Впервые Николай Радзивилл заговорил о религии, и Курбский промолчал: не кальвинисту, не верящему в таинства и иконы святые, говорить о римской вере. Пусть католики и ошибаются, но они не богохульствуют, как эти... Свободные государства! Англия, Голландия, Германия? Страны еретической тьмы, вырождения христианства... А здесь? Говорят, Сигизмунд-Август равнодушен к любой вере. Говорят, что иезуиты и лютеране борются тайно, но насмерть за власть в этой стране. И кто бы ни победил, Православие будет под игом, как при татарах...

Он так задумался, что Радзивилл опять тронул его за локоть.

– Из Вильно пишут, что ваш печатник Иван Федоров тоже перешел к нам, – сказал он. – Лучшие люди Руси хотят быть с нами – таков плод кровожадности Иоанна Четвертого.

– Да! – Курбский поднял голову, оживился. – Он гонит Максима Грека, всех, кто любит просвещение и мыслит свободно. Он и меня за это... А что еще?

– Посол Иоанна Жилинский – ты его знал? – тайно предлагал большой выкуп или обмен за тебя. Но король сказал, что у нас не принято продавать друзей, как охотничьих собак или соколов. – Радзивилл покачал головой и презрительно щелкнул пальцами. – Жилинский не знает, что в его свите есть наш человек. Да, я забыл: этот человек сказал, что под Смоленском схватили какого-то Василия, кажется, твоего стремянного. У тебя был такой? Если ты вый-

дешь послезавтра, тебе надо сейчас идти и хорошо отдохнуть. Я скажу Острожскому, чтобы он отобрал вам новых людей и, главное, лошадей свежих.

Курбский слышал слова, но плохо понимал их: он видел нечесаную башку Василия Шибанова, его деревенское, обветренное лицо и сморщенную шею в вороте рубахи, светло-серые простодушные и суровые глаза, когда он говорил: «Ты не думай чего, князь... письмо твое довезу... ты не думай так-то...» Они схватили его, но письмо побоятся не пересылать царю, а с ним они сделают... что? Мысль об этом толкнула, как зубная боль, он сморщился. Что это говорит Радзивилл?

– Иоанн Четвертый, доносят нам, целыми неделями ездит по монастырям, делает вклады и молится усердно. – Он хотел что-то добавить, но удержался: пусть Курбский вернется из похода, у него там должна быть светлая голова и одна мысль – победить, война не любит рассеянных или уstraшенных.

– Можно ли, гетман, – спросил Курбский странно упавшим голосом, – выкупить моего стремянного?

– Стремянного? – удивленно переспросил Радзивилл. – Разве он не сбежал от тебя? Конечно, можно, но если они узнают, что он *твой*, они заломят большую цену.

– Особенно если узнают, что он вез мое письмо к царю.

– Твое письмо? Иоанну? – На мгновение зрачки Радзивилла сузились и рот стал замкнут, жесток. – Ты писал ему?

– Да, писал. – Курбский тряхнул головой и встал. – Я покажу тебе список с этого письма. Впервые в жизни кто-то посмел сказать ему правду!

Он повернулся к входу в шатер, и закат осветил его лицо, сильное, огрубевшее. Только в уголках глаз морщилась бессонная горечь. Радзивилл разглядел ее.

– Иди, отдохни хоть немного, – сказал он. – Я зайду попозже, когда буду объезжать посты. Иди, Андрей, иди!

Курбский вышел из шатра и крикнул: «Коня!» Польско-литовские слуги, сидевшие на колоде, даже не встали, только головы повернули. «Коня!» – крикнул он громче и злее. Наконец, от коновязей отделился верховой – Мишка Шибанов, который вел в поводу мышастого жеребца князя. «Все спишь на ходу!» – хотел сказать Курбский по привычке, но посмотрел на беззаботное веснушчатое лицо отрока, и шутка застряла у него в горле.

Конец сентября, но безоблачно, сухо, мягкий свет прогревает березовые опушки, шуршит под ногами тленная листва, а в ней кое-где стоят крепкие головки боровиков; краснеет калина, попискивают рябчики за холодным ручьем. Андрей закидывает голову в осеннюю синеву за багряными осинами, солнечный лучик слепит, отскакивая от мокрой гальки на переправе; скрежещет по камню конская подкова. «Сегодня день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, а я еду неведомо куда по ничейной земле в литовских доспехах...» Андрей оглядывается, сдерживает вздох: как он любил эту пору оленьего гона, увядания трав, первые ранние зазимки, подтоковывание тетерева в розовом тумане на краю болота... А сейчас вроде это и было, и не было, точно заложило уши, ноздри, а на глазах – пленка мутная. Сколько еще дней, месяцев, лет ездить ему вот так в поиске своих, русских, чтобы или убить, или от них пасть? Странная пустота, невнятица мыслей, хоть он здоров, силен, ночью хорошо спит, разве что побаливает нога от старой раны под Невелем.

Они задержали войско Пронского и Серебряного, наезжая внезапно и исчезая, смутили, не пропустили в Ливонию. Вчера решили идти как бы в сторону Великих Лук, чтобы совсем запутать Пронского, и за день оторвались от него на двадцать верст. За эти последние недели Курбский увидел воочию, что нет никого беспощадней своих: его сторожевой разъезд попал в засаду, и всех изрубили зверски, а голые безглазые тела повесили вдоль дороги на березах. То же делали с пленными люди Тимофея Тетерина, который вызвался вместе со своими стрельцами идти с Курбским.

В одной захваченной деревне в церкви Покрова Богородицы Курбский решил причаститься. Они встали на дневку, разослали конные дозоры, ратники начали топить баню, стирали рубахи, ковали коней.

Ранним утром Курбский пошел в храм; в чистой деревянной простоте храма стояли и свои, и местные в лаптях и белых рубахах. Князь подошел к исповеди. Маленький, как подросток, седой курносый попик робко наклонил голову, сказал, показывая на Евангелие и крест на аналое:

– Не скрой греха, чадо Андрей, ни вольного, ни невольного, ибо Господь незримо стоит меж нами.

Курбский честно перечислил:

– Грешен в питии, словоблудии, гневе, в суетном многоглаголании, в чревоугодии, жестокосердии, гордыне... – Он замолчал, припоминая.

Попик тихонько вздохнул.

– Все ли? – спросил он. – Ежели не простил кому, прости здесь, сейчас...

И тут Курбский понял, что попик знает, что он – князь Курбский, ушедший от царя Ивана в Литву. Он не сразу ответил: лицо царя всплыло и заслонило иконостас, солнечные пыльные просветы высоких окон, взгляд царя бегал, щупал, выжидал, чтобы сразу схватить даже намек на непростительное и бросить в кислую от крови избу, в застенки. И от этого подымалась ярость, и он боролся с ней, как с кощунством, но не мог побороть. Здесь лукавить было недопустимо, страшно.

– Одного человека простить не могу, – сказал он, волнуясь и краснея, – да, может, он и не человек уже, а... оборотень. Нет, не могу!

Попик потупился, сложил ручки под грудью.

– Ежели не можешь простить, то и я не могу тебя разрешить, княже, – сказал он еле слышно.

И Курбский, с трудом отстояв обедню, но не приняв причастия, в тот же день поднял весь отряд и повел его на рысях прочь, подальше, точно можно было убежать от самого себя.

Когда выехали на высокое место верстах в трех от этого села и этой церкви Покрова Богородицы, он придержал коня, оглянулся и увидел позади высокий черно-сизый дым.

– Кто зажег? – спросил он подъехавшего Келемета. – Что горит? Своих жечь стали!

– Храм горит, – ответил Келемет, косясь темным глазом. – А не мы подожгли – немцы, собаки, я им кричал, да разве уследишь?

– Узнай, кто зачинщик, – жестко сказал Курбский. – Буду судить и при всех повешу! К вечеру чтобы я знал, кто поджег.

Келемет кивнул.

– Так-то оно, князь, правильно это, только немцы и ляхи скажут про тебя иное: своих, мол, не зоришь и им не даешь...

Вечером в присутствии всего отряда, построенного на широкой речной пойме, Курбский, окруженный стражей, с боевым перначом в руке, судил двух немцев-аркебузников, которых обвинили в поджоге церкви и грабеже. У них нашли в сумках церковные сосуды позолоченные и ризу с иконы. Немцев повесили и ушли дальше в осеннее мерцание березовых рощ и тихих озер, и опять были и ночные тревоги, и стычки, и внезапные переходы, но все это стало бессмысленно, мелко, противно, как бесцельная трусливая жестокость, хотя Курбский знал, что держит этими набегами в страхе все Великолукское воеводство и не дает царской армии вторгнуться в Ливонию.

Наконец, их догнал гонец от Радзивилла, который писал, что четвертого октября была снята осада Полоцка и войско ушло к Вильно, и что ему, Курбскому, надо ехать в Вильно тоже, потому что там ему будут вручены грамоты королевские на Кревское староство. И еще писал Радзивилл, что на имя Курбского передано письмо Иоанна Московского – ответ на его

послание, а еще – что тело его стремянного Василия Шибанова было выставлено после пыток на позор в Москве на торговой площади, но боярин Владимир Морозов тело то в укор царю велел отпеть и похоронить, за что был заточен. «Шибанов, – писал Радзивилл, – от тебя и перед лицом царя не отрекся, стоял за тебя насмерть».

Все это, смешавшись с верстами, дождями, облетевшими рощами и серыми валунами по краю пахотных клиньев, крутилось в голове, пока гнали они обратно. «Домой!» – вздыхали литвины, а русские Курбского думали только о том, чтобы где-то обсушиться и отоспаться.

Был октябрь, и они – Курбский с Острожским – ехали из армии в Вильно через осенние леса, то пасмурные, то изредка мокро-солнечные, но всегда бодрящие холодком осинников и чистотой сосняков; они скакали рядом, молча, дружно, а мысли неслись за ними, не отставая: мрачно-гордые и горькие – Курбского, радостно-домашние и свободные – Константина Острожского.

Главная мысль Курбского не покидала его весь день, она была недобро-торжествующей и повторялась под цокот копыт: «Он уязвлен – он ответил!» Да, самодержец, царь, владыка над всеми – Иван Васильевич Грозный! – не удержался и «рабу и холопу», как звал он всех в гневе, ответил все же, снизошел. Курбский торопился скорее прочесть этот ответ, он подгонял коня, прикидывал, что именно может ответить Иван на то или иное его обвинение, и не находил ни одного серьезного возражения, и улыбался торжествующе, а разбитая копытами земля неслась назад верста за верстой. Впереди был двор королевский, награда, победа над врагом – над Иваном, слава.

Но к вечеру, когда уставали кони, выходила и овладевала им другая мысль, жалила остро: «Василий, Василий, прости меня, ради Христа!» Во тьме какой-нибудь литовской хаты, где останавливались на ночь, он ворочался, не мог уснуть сразу, хотя от седла ныла поясница и судорогой сводило пальцы на ногах. «Ты что, князь, живот схватило?» – спрашивал сонный голос Константина Острожского и изгонял скорбные тени, и Курбский был благодарен ему за это. Ему вообще всегда становилось легче и проще, когда рядом был Константин – не воевода, а человек и друг. С ленивым и беспечным добродушием Константин Острожский и в разведку опасную выезжал, и садился за обеденный стол, он на все смотрел будто чуть улыбаясь, его полное, с ямочками и золотистой бородкой лицо было всегда спокойно и доброжелательно, а взгляд – открыт и прост. Да и весь он был прост – в своей православной вере, в словах, одинаковых для всех, в деревенских привычках, хотя Острожский был знатен, богат и считался одним из самых образованных людей в Литве. Он был на два года старше Курбского и гораздо его терпимее, он, как ребенок, боялся и ненавидел всякую жестокость, непримиримо выступал против судов с пытками, публичных казней и всего, что делали люди друг с другом и с животными. Именно это бессознательно делало его врагом Ивана Четвертого и той партии в Литве, которая подумывала, не пригласить ли вместо бездетного Сигизмунда-Августа на королевский трон русского царя и тем самым навсегда избавиться от опеки поляков и страха перед крымскими татарами. Сторонники этой партии засылали уже в Москву послов, прощупывали, кого пригласить на великое княжение – самого царя или его старшего сына?

Все это Константин Острожский рассказывал Курбскому по дороге в Вильно, а тот ужасался и негодовал. «Николай Радзивилл тоже против этого, – говорил Острожский, – и гетман Ходкевич, а теперь и Вишневецкий, который сначала со своими казаками прогнал ордынцев в Крым, а недавно перешел на нашу сторону с большим войском...» Курбскому показалось, что в душе Острожский осуждает Вишневецкого за измену царю. «Ты считаешь его изменником?» – спросил он сдержанно, но простоватый с виду Острожский услышал правильно: «Ты и меня считаешь изменником?» Он покачал головой, улыбнулся успокаивающе. «Нет, это слово не нужно здесь произносить, – сказал он искренне. – С древних времен и у вас, и у нас было законное право каждого боярина или княжича отъезжать от своего господина к другому, в другое княжество, если он захочет. Ты читал, наверное, как сын Михаила Тверского князь

Александр почти десять лет прожил у Гедимины, а сколько наших отъезжало к вам? Бельские, Глинские и другие... Это право древнее, у нас оно и теперь сохраняется на деле».

Они проехали сколько-то молча; трепетала осинка на меже, за тонкими бегущими тучками туманно проступал солнечный диск.

– А у нас, – сказал Курбский, – начиная с Иоанна Третьего, потом при Василии, а особенно теперь, при Иване, отъезды пресекают как измену. И обычай такой ввели против нас московские князья, чтобы всех под себя подмять! А я, если б был изменником, сдал бы Дерпт Сигизмунду со всеми пушками! Да и не один Дерпт...

Когда он так горячо, задыхаясь, начинал говорить, Острожский всегда незаметно переводил на другое.

– Вот ты скажи, – спросил он, – что мне с Янушем делать?

При нем в походе был отрок-сын.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.